

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

СЕРИЯ «ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

М. И. Гиллельсон

Молодой  
**ПУШКИН**  
И  
арзамасское  
братство



ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н А У К А»  
Ленинградское отделение  
Ленинград  
1974

## П Р О Л О Г

Пушкин родился в канун девятнадцатого столетия; ему еще не было двух лет в день убийства Павла I. Многие же государственные деятели, писатели, литераторы, с которыми он столкнется, его будущие друзья и враги в это же время вышли или выходят на общественное поприще. В 1801 году Карамзину 35 лет, Шишкову — 47.

В эти годы в Москве возникает Дружеское литературное общество; среди его участников — будущие арзамасцы Жуковский, Воейков, Александр Тургенев; много лет спустя Александр Иванович окрестит это общество «поддевическим Арзамасом» — по месту их встреч в домике Воейкова на Девичьем Поле. Пушкин еще в колыбели, а они уже юноши: Жуковскому — 16, Тургеневу — 17, Воейкову — 22.

Можно ли подходить с одной и той же меркой к людям разных поколений? Как известно, психология, привычки, эмоции подвержены значительным изменениям. Динамика изменений — величина переменная. Чем интенсивнее общественное развитие, тем различнее облик соседних поколений. Объясняя вражду на Парнасе, порой ссылаются на личную неприязнь литераторов, указывают на несовпадение их общественных позиций, апеллируют к избирательным свойствам писательской индивидуальности. Значение всех этих факторов неоспоримо. И тем не менее часто их бывает недостаточно для всесторонней оценки полемики, для уяснения всех нюансов отношений между участниками литературных обществ, состоящих,

как правило, из лиц разных поколений. Будем же внимательны к хронологии!

Пушкин еще учится ходить, когда в Петербурге возникает ранний кружок Оленина. Историки литературы почти не говорят об этом кружке, или говорят о нем скороговоркой. По правде, и винить их особенно нельзя — сохранилось мало свидетельств о его деятельности. А между тем именно в этом кружке — зародыш литературных обществ 1810-х годов: от него ведут нити и к «Арзамасу», и к «Беседе», и к позднему кружку Оленина; духовные ценности, созданные его участниками в первое десятилетие XIX века, во многом определили умственную атмосферу 1810-х годов, когда происходило возмужание Пушкина. Большинство его участников стало затем знакомыми, приятелями, друзьями, недоброжелателями или даже врагами Пушкина. Чтобы разобраться в будущих литературных спорах и психологических коллизиях, необходимо приподнять завесу над ранним кружком Оленина.

Алексей Николаевич Оленин родился 21 ноября 1763 года. Его родители, статский советник Николай Яковлевич и мать Анна Семеновна, — дочь генерал-аншефа, князя Семена Федоровича Волконского, — жили в Москве. Когда мальчику исполнилось десять лет, его отправили в столицу, к родственнице — княгине Екатерине Романовне Дашковой, у которой на него обратила внимание Екатерина II; по ее повелению Оленин был записан в 1774 году в Пажеский корпус, а несколько лет спустя, в 1780 году, отправлен за границу; он обучался некоторое время в Страсбургском университете, а затем в Дрезденском артиллерийском училище. В Германии в эти годы гремела слава Винкельмана; его «История искусства древности» открыла Европе истинную античность. Труд Винкельмана стал на всю жизнь эстетическим компасом Оленина.

Вернувшись из Дрездена в 1785 году, он служит в артиллерии, участвует в шведской кампании 1789—1790 годов и в польском походе 1792 года. Между тем его влекли другие занятия — ведь уже в 1785 году он был избран членом Российской академии за работу, посвященную «толкованию многих русских старинных речений». Он увлекается рисованием, овладевает техникой сепии, туши и акварели, осваивает гравирование на меди. Есте-

ственно, что его не покидает мысль об отставке; с 1795 года он переходит на гражданскую службу и поселяется в столице.

Оленин умел ладить с сильными мира сего; смена монархов не мешала его служебным успехам. При Екатерине II ему шли военные чины; при Павле I он быстро продвигался по статской линии, занимал пост обер-прокурора Сената и управляющего школой титулярных конюхеров, учрежденной для образования юристов; при Александре I и Николае I — директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств.

«Его чрезмерно сокращенная особа была отменно мила, — писал современный мемуарист Ф. Ф. Вигель, — в маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце <...> По пословице, всегда гонялся он за всеми зайцами вдруг; но, не по пословице, настигал их: у которого оторвет лоскут уха, у которого клочок шерсти, и сими трофеями любил он украшать не только кабинет свой, а отчасти и гостиную. Он имел притязания на звание литератора, артиста, археолога, даже те люди, кои видели неосновательность сих претензий, любя его, всегда готовы были признавать их правами. Сам Александр (т. е. царь, — М. Г.) шутя прозвал его Tausendkünstler, тысячеискусником».<sup>1</sup>

Даже Вигель, любивший давать ядовитые характеристики своим знакомым, лишь слегка колет Оленина, упрекая его в недостаточной основательности познаний; в целом же это красноречивый панегирик, столь необыкновенный в устах злоязычного мемуариста.

В 1795 году Оленин приобрел в Шлиссельбургском уезде, в шестнадцати верстах от столицы, участок земли и построил там барскую усадьбу — ее окрестили Приютино. Название удачное и справедливое, — писатели, художники, артисты нашли тут благосклонный и радушный приют.

Усадьбу строили добротнo и основательно. Двухэтажный каменный дом был вместителен и удобен. В первом этаже — гостиная, зал, кабинет, спальня хозяев, галерея со стеклянными дверьми, буфетная, девичья, лакейская. Во второй этаж вели две лестницы с деревянными точеными перилами; там находились комнаты для домашних

<sup>1</sup> Вигель, т. 2, стр. 46—47.

и для гостей. При большом съезде гостей, что часто бывало в Приютино, приезжие располагались также в большом каменном флигеле, стоявшем невдалеке от господского дома. Многолюдно было в гостеприимной усадьбе Оленина, — на мызе держали 17 коров, а сливок, как свидетельствуют современники, частенько не доставало.

«Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни, несколько подчиненных, обратившихся в домохозяев, наполняли дом сей как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности», — вспоминал тот же Вигель.<sup>2</sup>

Жизнь там шла размеренно и неторопливо. В саду на гранитном шлифованном столбе была прикреплена мраморная плита; на ней под стеклянным колпаком помещались солнечные часы, символ нерушимого порядка. В 10 часов утра пили чай, в 12 — завтракали, в 4 — обедали, в 6 — полудничали, в 9 вечера снова чаевничали. К столу все сзывались ударом в колокол. В остальное время каждый был волен заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом (на конюшне два десятка лошадей), стрелять в лесу из ружей, пистолетов или из лука; крохотный Меценат сам показывал гостям, как натягивать тетиву.

Батюшков писал об этом «земном рае»:

Есть дача за Невой,  
Верст двадцать от столицы,  
У Выборгской границы,  
Близ Нарголы крутой:  
Есть дача или мыза,  
Приют для добрых душ,  
Где добрая Элиза  
И с ней почтенный муж,  
С открытою душою  
И с лаской на устах,  
За трапезой простою  
На бархатных лугах,  
Без дальнего наряда,  
В свой маленький приют  
Друзей из Петрограда  
На праздник сельский ждут.

<sup>2</sup> Там же, стр. 47.

Элиза — Елисавета Марковна Оленина, хозяйка Приютина, жена Оленина, дочь известного при Елисавете Петровне и Екатерине II Марка Федоровича Полторацкого, основателя придворной капеллы певчих. Одаренная ясным умом и кротким нравом, она, по словам часто бывавшего в гостях у Олениных С. С. Уварова, оживляла общество. Болезненная, она обычно лежала на широком диване, окруженная посетителями, и, стойчески преодолевая недомогание, ласково улыбалась гостям.

Завсегдатаями приютинской усадьбы были многие петербургские литераторы и художники. Поэт С. Н. Марин писал в 1807 году Оленину: «Поклонитесь барыне и всему вашему семейству — Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому. Напомните, что есть де один бедный поэт,

Которого судьбы премены  
Заставили забыть источник Иппокрепы,  
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье —  
Не перышки чинить, но чистить лишь копые;  
Заставили принять солдатский вид суровый,  
Идти, нахмурившись, прескучною дорогой,  
Дорогой, где язык похож на крик зверей,  
Дорогой грязною, что в горести моей  
Не приведет меня во храм бессмертья славы,  
А, может быть, в корчму, стоящу близ Варшавы».<sup>3</sup>

Итак, Озеров, Капнист, Крылов, Шаховской, Марин составляли литературный «костяк» раннего кружка Оленина.

Владислав Александрович Озеров родился в семье мелкопоместного дворянина Тверской губернии. В 1776 году шестилетнего мальчика привезли в Петербург и определили в Сухопутный шляхетский корпус. Полный курс — долгих четырнадцать лет — провел он в стенах этого первоклассного учебного заведения. В 1789 году Озеров поступил адъютантом к графу де Бальмену и отправился на войну с Турцией. Затем он возвращается в столицу — и снова Васильевский остров, бывший дворец князя Меншикова, тот же Шляхетский корпус, по теперь он уже не воспитанник, а адъютант директора

<sup>3</sup> ГПБ, ф. 542, № 249, — с пометой В. А. Олениной, что письмо написано С. Н. Мариным. Это письмо ошибочно включено по копии в собрание сочинений Батюшкова. Свидетельство В. А. Олениной подтверждается как сверкой почерка, так и всем содержанием письма.

корпуса графа Ангальта, человека просвещенного и умного; после его смерти в 1794 году Озеров продолжает службу в корпусе. Однако порядки, введенные там после кончины Ангальта, по-видимому, не понравились Озерову; с 1796 года он перешел на гражданскую службу.

Между тем Озерова неудержимо влекла сцена. 16 мая 1798 года в Петербургском Большом театре была показана премьера его трагедии «Ярополк и Олег». Пьеса имела успех, но тотчас была снята с репертуара: власти усмотрели в ней опасные намеки.

С ликованием встретил Озеров весть о мартовском перевороте 1801 года. В «Оде на радостное восшествие его императорского величества Александра Павловича на всероссийский императорский престол в 12-й день марта 1801 года» поэт сравнивал нового монарха с великим полководцем древности, его тезкой — Александром Македонским.

Озеров не был льстецом. Ода была написана по первому движению сердца, а не по расчетам холодного рас-судка и низменной корысти; он не преподнес ее царю, не напечатал, — она увидела свет лишь в посмертном издании его сочинений.

«Дней Александровых прекрасное начало» не для всех оказалось прекрасным. Правда, в том, что произошло с генерал-майором Лесного департамента Владиславом Александровичем Озеровым, никто не был виновен, кроме него самого. При начале царствования Александра I всюду шли толки о переменах. Озерова спросили, не нужно ли делать реформу в его департаменте; мнительный и самолюбивый до последней крайности, он принял этот вопрос за совет идти в отставку и тотчас вышел. Летом 1801 года он уехал в Тверскую губернию, в деревню, к отцу.

Мать Озерова давно умерла. Отец был женат во второй раз. Стесненный в средствах, он понуждал сына служить. Когда-то тот внял уговорам отца и благополучно делал карьеру: дослужился до чина генерал-майора; выход его в отставку нарушил планы отца; отношения его с сыном стали холодными и неприязненными.

Дома Озеров был чужой, своей семьей не обзавелся. В Петербурге он полюбил замужнюю женщину. Кто она, мы не знаем. Известно лишь то, что чувство было взаимным, трудным и безнадежным. Она не вынесла своего жребия — и скончалась; он был однолюб и остался верен ей до гробовой доски.

По свидетельству Блудова (двоюродного брата Озерова; их матери — родные сестры), жизнь под отчим кровом была чревата для Озерова многими неприятностями, «но по счастью любовь к словесности в нем пробудилась: сперва он только читал, однако читал уже с выбором, от французских авторов перешел к древним (в переводе) и Софокл дал ему мысль написать „Эдипа“. <...> Живучи в уединении, он узнал наших истинных образцов и с восторгом, достойным и таланта и души его, читал, перечитывал Державина, Дмитриева и Карамзина. Он чувствовал им цену и не стыдился по ним учиться...»<sup>4</sup>

Деревенским отшельником Озеров прожил полтора года. По настоянию Блудова он вернулся в Петербург и в январе 1803 года вновь поступил в Лесной департамент, в том же чине, в ту же должность. Служба вошла в прежнюю колею. Шестерней — ему полагались прогонные на шесть лошадей — ездил он по губерниям, ревизуя лесные части. Высокого роста, широкоплечий богатырь, он с трудом влезал в дорожную кибитку. Влезал, лошади трогали, он закрыл глаза и забывал об окружающем; мыслию он переносился в древнюю Грецию, его обступали герои античных трагедий, в голове все явственнее вырисовывались сцены «Эдипа в Афинах».

С рукописью этой трагедии и появился Озеров в доме Оленина. Хозяин и его друзья были в восторге. Археолог, коллекционер, знаток античности, Оленин понял, что сама судьба послала ему именно такого трагика, о котором он мог только мечтать. В русском искусстве, в русской литературе, под непосредственным воздействием олеинского кружка, набирал силу неоклассицизм. Перефразируя остроту Вольтера, можно сказать, что если бы Озерова не было, его следовало бы изобрести, — так его талант был нужен в это время. Естественно, что гостеприимные двери приютинского дома — равно как и городской квартиры Оленина — были распахнуты особенно широко для Озерова. Оленин сам пишет эскизы декораций для его трагедии, в доме Оленина происходят и первые репетиции «Эдипа в Афинах».

23 ноября 1804 года состоялась премьера трагедии. Дочь Оленина, Варвара Алексеевна, свидетельница успеха ее, вспоминала: «Владислав Александрович Озеров, знаме-

<sup>4</sup> Гиллельсон, стр. 373.

нитый наш трагик, был умен, честен, благонравен, кроток, скромнен до дикости. В тот вечер, как был триумф его трагедии Эдипа, разыгранной нашими знаменитостями Яковлевым и Ек. С. Семеновой, находился в ложе у бабушки, тронутый до слез от восторга публики; но когда публика требовала автора, автор давно исчез и не могли его найти».<sup>5</sup>

Успеху «Эдипа в Афинах» способствовал и другой участник оленинского кружка — Шаховской. Несколько лет спустя он охладеет к Озерову, арзамасцы будут даже обвинять его в преждевременной смерти драматурга. Но это все еще впереди. А пока Шаховской в числе первых ревнителей трагедии Озерова.

«Бывший казначей театра, Петр Иванович Альбрехт, лицо историческое в летописях тогдашнего театрального управления, представил, что в кассе только 215 руб. и что нет возможности сделать издержки в 1200 руб., исчисленные на монтировку пьесы, которая, может, еще и гроша не принесет. Начались споры; дело пошло в оттяжку. У князя Шаховского собрался комитет из А. Н. Оленина, графа В. В. Мусина-Пушкина, князя П. А. Гагарина, Павла Мих. Арсеньева, А. А. Майкова, И. А. Дмитревского и И. А. Крылова (писавшего тогда свою «Модную лавку»), чтоб посоветоваться, как помочь горю. Думали, думали, выпили два самовара чаю — и ничего не придумали. Вдруг пылкий князь Шаховской вскочил с своего места: „Ах, я дурак какой! да дело очень просто. Макарь! (служитель князя Шаховского) беги к Альбрехту и зови его тотчас сюда“. Тот приехал. „Вот, бабушка, Петр Иваныч, вы все думаете и делаете по-немецки, сбили с толку и Александра Львовича, а мы так вот по-русски: «Эдипа» я ставлю на свой счет. У меня гроша нет, да мое жалование у вас. Если трагедия выручит, вы мне возвратите деньги, в противном же случае — моя беда“. — „Ну, этак можно, — сказал omnipotent «всемогущий» театральной кассы, — мы ничего не теряем, а ваши интересы до вас касаются“».

Так писал С. П. Жихарев в «Воспоминаниях старого театрала».<sup>6</sup> Правда, он, вероятно, привел этот эпизод со

слов Шаховского (самого Жихарева в 1804 году в столице не было; он переселился из Москвы в Петербург лишь в конце 1806 года) и, по-видимому, записал его значительно позднее; отсюда неточность: Крылова на этом «комитете» не могло быть, так как он вернулся в столицу два года спустя после описываемых событий. Но зато во всем остальном версия Жихарева — Шаховского вполне правдоподобна. Театралы князь Иван Алексеевич Гагарин (покровитель Семеновой), граф Василий Валентинович Брюс-Мусин-Пушкин, Аполлон Александрович Майков (дед нареченного в его честь поэта Аполлона Майкова), актер и драматург Иван Афанасьевич Дмитревский и, наконец, Оленин — это был как раз круг лиц, который в те годы влиял на репертуар столичных театров. Естественно, что именно они сообща решили вопрос, как пособить Озерову, как выручить его трагедию.

Широкий жест члена репертуарного комитета Шаховской снял все резоны осмотрительного казначея. Шаховской выручил трагедию, трагедия выручила его: сборы были огромные, казна заплатила ему жалование. «Проценты» оказались куда солиднее капитала, временно вложенного в театр, — Шаховской стал причастным к неслыханному успеху «Эдипа в Афинах».

Александр Александрович Шаховской происходил из старинного княжеского рода, давно утратившего блеск своего имени. Будущий драматург родился в 1777 году в смоленском поместье Беззаботах. Когда-то в этом родовом имении действительно было беззаботно; но это было во времена давно прошедшие, — от них остались лишь воспоминания о былом богатстве. С 1784 года Шаховской учится в Московском университетском пансионе, а в 1793 году переезжает в столицу и поступает сержантом в Преображенский полк, в который он был записан, по обычаю тех лет, с десятилетнего возраста. Денег у него всегда было в обрез, великосветская жизнь оказалась ему не по карману. Постепенно он пристрастился к литературе и к театру. В 1795 году он дебютирует пьесой «Женская шутка». Успех ее был весьма скромным, но и он способствовал успеху самого автора. Веселый, остроумный, не по летам тучный гвардеец-драматург был благосклонно принят в большом свете. Его охотно зовут на обеды и ужины, а он, не чинясь, принимает приглашения.

<sup>5</sup> ГПБ, ф. 542, № 266. — Приписка на письме Озерова к А. Н. Оленину от 30 декабря 1808 года.

<sup>6</sup> С. П. Жихарев. Записки современника. Ред. статьи и комм. Б. М. Эйхенбаума. М.—Л., Изд. АН СССР, 1955, стр. 598—599.

Шаховской сближается с директором императорских театров Александром Львовичем Нарышкиным и по его рекомендации назначается в 1802 году членом репертуарного комитета. Затем его командируют в Париж для приглашения актеров французской труппы. Сослуживец его по Преображенскому полку Марин не преминул воспеть эту поездку в шуточной оде «На возвращение князя А. А. Шаховского из Франции в 1802 году»:

Скажи, не кроясь личиной,  
Поехал ты от нас детиной,  
А чем приехал ты назад?

В Петербурге Шаховской становится участником литературных бесед в доме Оленина; вместе с ним он печется об успехе «Эдипа в Афинах» и радуется триумфу Озерова, — ведь и он, Шаховской, внес свою лепту в это блистательное предприятие. А судьба между тем готовила ему досадный сюрприз: три недели спустя после премьеры «Эдипа в Афинах», 16 декабря 1804 года, с треском провалилась его комедия «Коварный». Полгода спустя Шаховской берет реванш — 31 мая 1805 года его комедия «Новый Стерн» произвела сенсацию. Успех ее имел скандальную подоплеку: в лице графа Пронского зрители распознали стилизованный портрет Карамзина. Репутация Шаховского-драматурга сразу упрочилась. В последующие годы его пьесы заполняют сцену. И лишь в 1810 году, когда он рискует выступить соперником Озерова, поставив свою трагедию «Дебора», он вновь терпит неудачу. Жанр трагедии был противопоставлен его писательскому дарованию.

Рядом с неуклюжей фигурой Шаховского особенно выделялся статный и красивый однополчанин его Сергей Никифорович Марин. Он был потомком древней, но не громкой дворянской фамилии. Родословная Мариных уходит в XVI столетие. В 1515 году великий князь Василий Иванович за ревностные услуги пожаловал Павла Гридина, сына Марина, семью деревнями. Его сын — Петр Павлович — отличился при походе Ивана IV на Казань. Сметливый техник-сапер, «розмысл» Марин сделал удачный подкоп и взорвал Казанскую крепость в 1552 году. Его воинский начальник князь Курбский вскоре бежал в Литву; Петр Марин остался верен московскому государю.

Так начался род Мариных. Он не блистал под пером Карамзина: последующие поколения этого семейства не стяжали лавров ни на военном, ни на статском поприще; капралы, прапорщики, подпоручики, чиновники низших классов — они тянутся сквозь столетия ничем не примечательной вереницей. Удачливее других оказался отец поэта, Никифор Михайлович (1736—1811) — полковник, действительный статский советник, новгородский губернатор.

Сергей Никифорович Марин родился 18 января 1776 года. Сначала его пестовали иностранцы-гувернеры, затем десяти лет от роду он поступил в Воронежское главное народное училище и успешно окончил его в 1789 году. Вскоре юношу отвезли в Петербург, где он был зачислен в Преображенский полк. В 1797 году портуней-прапорщик Марин был разжалован Павлом I в рядовые за то, что сбился с ноги на вахт-параде перед Зимним дворцом. Несколько месяцев тянул солдатскую ляжку. Однажды, находясь в дворцовом карауле, Марин «по-гатчински» отдал честь царю. Павел I пришел в восторг. Не сходя с места, «разжалованный дворянин Марин» стал прапорщиком. За падением следовал взлет; за взлетом могло последовать новое падение. Все было призрачным, неверным, мимолетным.

Вечером 11 марта 1801 года на столе императора появился новый сервиз; его изготовили по личному распоряжению Павла I — на чашках, тарелках и блюдах был изображен Михайловский замок. «Сегодня один из счастливейших дней моей жизни!» — воскликнул император. Караулом в нижнем этаже замка командовал Марин. Когда началась тревога и сторонники Павла I хотели помешать заговорщикам, Марин с пистолетом в руках скоординировал: «Ко мне, бывшие гренадеры Екатерины!.. Выходите из рядов! Будьте готовы к нападению! Если эти мерзавцы гатчинцы двинутся, принимайте их в штыки!». Гатчинцы не двинулись. Павел I оказался предоставленным своей судьбе.

Марин отлично владел не только шпагой, но и пером. По характеру своему он был прирожденным сатириком, поэтом язвительным, с эпиграмматической жилкой. Стихи свои он почти не печатал, но известность его от этого не страдала.

«Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотров».

щиков. Запрещенный товар — как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения»,<sup>7</sup> — писал поэт-партизан Денис Давыдов. Запрещенным товаром были стихи Марина. Их читали при закрытых дверях, сторонясь недоброго глаза.

Ахти — ахти — ахти — попался я впросак!  
Из хвата егеря я сделался пруссак.  
И каску променяв на шляпу треугольну,  
Веду теперь я жизнь и скучну и невольну.  
На место чтоб итти иль в кюб, иль в маскарад,  
Готов всегда бежать к дворцу на вахт-парад.

Время между военными походами Марин проводит в столице. Он — неперемный участник оленинского кружка, где близко сходитя с Крыловым и с Капнистом. С Шаховским же, его бывшим однополчанином, отношения не столь безоблачны.

Да, я сказал в стихах, что воин незадорный  
В отставку вышед стал порядочный придворный.  
Но я хочу тебя, любезный, остеречь:  
Не о тебе была тут речь,  
В стихах моих пишу всегда я справедливо:  
Ты воин был дурной — и при дворе не диво.

Вряд ли Шаховской был благодарен Марину за эту злоую и ядовитую эпиграмму. Некоторым утешением было лишь то, что сатирическая палица Марина не падила и литературного противника Шаховского — Карамзина; Марин высмеял автора «Писем русского путешественника» в сатире, посвященной Ивану Ивановичу Дмитриеву. И так, одновременно хвала Дмитриеву и хула Карамзину. Для нас подобное раздвоение — историко-литературный парадокс; для Марина, имевшего свою шкалу поэтических ценностей, в этом нет ничего необычного; для него Дмитриев — не карамзинист (это ярлык позднейшего происхождения), а поэт-сатирик, один из тех, от кого вел свою поэтическую родословную сам Марин.

К тому же шкала ценностей у Марина не абсолютная, а относительная. В той же сатире он писал, что рифмы

порой подводят его:

Коль ненавистника хочу назвать пороков,  
Мне ум твердит Княжнин, а в стих идет Сумброков.  
Когда ж с Омиром я сравнить кого готов,  
Херасков на уме, а под пером Графов.

Сумброков, конечно, А. П. Сумароков, а Графов — граф Д. И. Хвостов. По сравнению с ними Княжнин и Херасков отличные поэты. А если не сравнивать? Тогда итог несомненно иной. Тогда пишется Мариным одноактная комедия «Превращенная Дидона», шутливая «перелицовка» трагедии Княжнина. Пишется — и вскоре падает на сцену; но, конечно, не на подмостки императорского театра, а на сугубо приватную сцену домашнего театра. В архиве Оленина сохранилась сюита его рисунков с развернутой пояснительной записью:

«Зарисовка разных игр, имевших место на мызе Приютино 5 сентября 1806 года.

№ 1. Въезд Флориной колесницы с подарками, поднесенными Е. Ф. Полторацкою, мамзелью Фюршт и мадамою Монготье.

№ 2. Отчаянное побоище рогожных рыцарей К. Полторацкого и А. Данилова на лопатах.

№ 3. Торжественное шествие рогожного рыцаря после победы, сопровождаемое приютским гарнизоном.

№ 4. Торжественный въезд чахотного Геркулеса и прачки Минервы с их поезжанами, т. е. Федора, Александра и Константина Полторацких, Наумова, Данилова, и Аумана.

№ 5. Разительное явление из трагедии Дидоны, переведенной с греческого подлинника г-м Мариным (Данилов, Марин, Ф. Полторацкий, Уваров, Энгель, Наумов, К. Полторацкий).

№ 6. Пожар города Трои, представленный смоляными бочками; зрелище, изображенное А. П. Квашниною-Самариною и приведенное в действие П. А. Ниловым.

Сверх того был вход и хор А. П. Самариной, Ниловых, Капниста, Озерова; огромный фейерверк Энгеля и А. Полторацкого; павильон Нилова, балансеры, куклы, балет, бад и бесчисленное множество разных других штучек.

<sup>7</sup> Денис Давыдов. Сочинения. М., Гослитиздат, 1962, стр. 34—35. Стихи Марина цитируются по изданию: С. Н. Марин. Полное собрание сочинений. М., Изд. Гослитмузея, 1948.

Утощали гостей, за болезнью хозяйки, А. М. Сухарева и Т. М. Полторацкая; за порядком наблюдал А. Д. Сухарев; а хозяин с радости бегал, как угорелая кошка».<sup>8</sup>

Пятое сентября — торжественный день в приютинском календаре: это день рождения Елисаветы Марковны, жены Оленина; из года в год в этот день в Приютине устраивались представления.

Домашний театр не был редкостью для России. В XVIII и в начале XIX века богатые помещики-меломаны содержали театры в своих поместьях. Грибоедов недобрим словом вспоминает в «Горе от ума» беззаботного самодура, который «на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей».

На приютинской сцене не было клейма крепостничества. Здесь актеры — писатели, домашние, знакомые; пьесы и интермедии пишутся самими участниками спектакля; здесь в ходу шутка, пародия, травестирование. В рисунках и заметке Оленина перед нами оживает приютинская явь. Комедия Марина «Превращенная Дидона» обрамлена интермедиями, изобретательно вплетена в театральную «перелицовку» античности.

Как были распределены роли в «Превращенной Дидоне», мы не знаем. Энея, по всей вероятности, играл сам автор; во всяком случае сохранилось свидетельство современников, что в другой раз и на другой домашней сцене Марин играл Энея, а Крылов — Дидону.

Среди участников приютинского спектакля — братья хозяйки дома: Александр Маркович Полторацкий, управляющий Петербургского монетного двора, литератор-дилетант, и его жена Татьяна Михайловна, урожденная Бакунина; Константин Маркович, военный, холостяк, донжуан; Федор Маркович с дочерью Лизой. Среди актеров — свойственник Петр Андреевич Нилов, поэт семейных торжеств, женатый на Прасковии Михайловне Бакуниной; статс-секретарь Федор Иванович Энгель; писатели Озеров и Капнист. Об Озерове мы уже говорили, Капнист же не представлен еще читателю.

Николай, Андрей, Петр и Василий Капнисты учились в Петербурге, а затем поступили сержантами в гвардию.

<sup>8</sup> ГПБ, ф. 542, № 353.

Это были годы царствования Екатерины II. Один фаворит сменялся другим. Внезапно сошел с ума Андрей; по семейному преданию, он заболел от безнадежной любви к императрице. А его брат Петр, видный красавец, был благосклонно замечен Екатериной II. Едва он узнал о видах на него императрицы, как тайком сел на корабль и бежал в Англию. Сам же Василий Капнист, будущий писатель, остался не затронутым вольными нравами двора. В 1781 году он женился на Александре Дьяковой. Тогда же он помог своему другу, поэту и художнику Николаю Александровичу Львову, тайно обвенчаться с ее сестрой. Позднее на третьей сестре женился Державин. Тройственный союз скрепил родственными узами участников небольшого поэтического кружка. История этого содружества еще не написана. Между тем имена его членов — Капниста, Львова, Хемницера, Державина — порука тому, что кружок этот был важным звеном в истории литературного быта XVIII века. К началу XIX века Львов и Хемницер умерли, а пути Капниста и Державина разошлись. Капнист оказался на распутье; своих новых друзей и соратников он обрел в Приютине; ведь к этому времени он стал известным драматургом.

Живя то на Украине, в родной Обуховке, то в Петербурге, Капнист воочию видел неприглядную картину тогдашних нравов. На личных мытарствах убедился в продажности судейского сословия. В 1793 году он написал комедию «Ябеда». Пять лет она оставалась под спудом; лишь в 1798 году цензура разрешила напечатать ее. Тогда же она была поставлена на сцене, но после четырех представлений ее сняли с репертуара. Комедия была запрещена, но автор ее получил повышение: он был пожалован в коллежские советники и определен на службу в дирекцию императорских театров. У Павла I была своя, порой непонятная окружающим логика поведения.

В 1800 году шла одноактная идиллическая опера Капниста «Клорида и Милон»; в 1805 году зрители смотрели в его переводе комедию Мольера «Стапарев, или мнимый рогоносец». «Ябеда», «амнистированная» Александром I, вновь увидела свет рампы. В эти-то годы Капнист становится своим человеком в кружке Оленина, у него завязываются дружеские отношения с самим Олениным, с Озеровым, с молодым Гнедичем, также вовлеченным в приютинскую орбиту.

Какой-то зои́л (злые языки говорили, что им был Марин) написал эпиграмму на «Эдипа в Афинах»:

Во храм бессмертия наш Озеров идет,  
Но как ему дойти? Слепой его ведет!

Эпиграмма больно задела чувствительного Озерова. На выручку подоспел Капнист; он написал Озерову стихи, которые кончались следующими строками:

Лавровый ждет тебя венок на алтаре.  
Теки, и, презря яд зоилов злоязычный,  
В опасном поприще ты бег свой простирай;  
Внемли плесканью рук и ввек не забывай,  
Что зависть спутница одних даров отличных;  
Что ярким озарен сиянием предмет  
Мрачнейшу за собой на землю тень кладет.

Стихи Капниста успокоили Озерова; он благодарил его ответным посланием:

Теперь хотя б Эдип за скорбной слепотой  
Не мог меня вести к бессмертью в путь надежный,  
Стихов твоих согласьем, красотой,  
Стихов, перу Капнистову приличных  
К бессмертию пойду в досаду злоязычных.

Пятым в квинтете приютинских драматургов был Крылов.

С давних пор имя Крылова неотделимо от его басен. Так повелось давно, но не так было с самого начала. Первые басни Крылова стали известны публике в 1806 году, когда писателю было около сорока лет. А на тернистый путь русского литератора он вступил юношей. Его творческая деятельность уникальна; она состоит из двух частей, казалось несовместимых для одного человека. Без малого четверть века Крылов — драматург и публицист, затем только баснописец.

Оперы «Кофейница», «Бешеная семья», «Илья-Богатырь», «Сонный порошок», трагедии «Клеопатра» и «Филомела», комедии «Сочинитель в гостиной», «Проказники», «Пирог», «Лентяй», «Модная лавка», «Урок дочкам», шуто-трагедия «Подщипа» — таков перечень его трудов для сцены. Одноактная комедия «Пирог» — живая, полная добродушного юмора, начиненная выпадами против сентиментальных романов — была поставлена на

приютинском театре. Точное время ее постановки не известно, по всей вероятности не раньше 1806 года, когда Крылов после долгого отсутствия вернулся в столицу и стал завсегдатаем у Олениных. Батюшков, который часто встречал его в Приютино, писал:

Поэт, лентяй, счастливец  
И тонкий философ,  
Мечтает там Крылов  
Под тению березы  
О басенных зверях  
И рвет парнасски розы  
В приютинских лесах.  
И Гнедич там мечтает  
О греческих богах,  
Меж тем как замечает  
Кипренский лица их  
И кистию чудесной,  
С беспечностью прелестной,  
Вандиков ученик,  
В один крылатый миг  
Он пишет их портреты...

(«Послание к А. И. Тургеневу»)

Батюшков точен. Теперь Крылов мечтает «о басенных зверях», хотя последние драматургические опыты принесли ему наконец долгожданный успех. В 1806—1807 годах две его комедии, «Модная лавка» и «Урок дочкам» — отповедь французомании дворянского общества, — восторженно встречены зрителем. Благосклонно принята и его волшебная опера «Илья-Богатырь», положенная на музыку композитором Кавосом. Но театральная слава пришла слишком поздно; Крылов круто порывает с театром и бесповоротно становится баснописцем.

Наш беглый обзор драматургического ядра раннего кружка Оленина закончен. Если не считать пожилого Капниста, родившегося в конце 1750-х годов, то остальные его участники — люди одного поколения: Крылов родился в 1768 году, Озеров — в 1769, Марин — в 1776, Шаховской — в 1777 году. Все они, включая и Капниста, сформировались в царствование Екатерины II, во времена господства русского классицизма. Последующие литературные веяния (сентиментализм, преромантизм, неоклассицизм) по-разному воспринимались ими — то с положительным, то с отрицательным знаком, то с большей, то с меньшей интенсивностью. Но все эти наслоения

откладывались на прочный фундамент классицизма. Вместе с ним было молодое поколение литераторов оленинского кружка. Вот даты их рождения: Гнедич — 1784, Блудов — 1785, Уваров — 1786, Батюшков — 1787 год. При Екатерине II они — дети, при Павле I — подростки; их юность совпала с первыми годами царствования Александра I.

У нового поколения были иные литературные вкусы и пристрастия. Среди них не было ни одного драматурга; новое поколение чувствовало, что время господства Мельпомены и Талии — муз трагедии и драмы — на исходе.

По водоразделу поколений пройдет и будущее размежевание участников оленинского кружка. Правда, Озеров уедет в 1808 году из столицы и не примкнет ни к какому новому литературному объединению; правда, Гнедич не станет ни беседчиком, ни арзамасцем. Но это исключение, а правило — или, точнее, тенденция поколений — таково:

Шаховской, Капнист, Марин, Оленин, Крылов станут членами «Беседы»;

Уваров, Блудов, Батюшков сплотятся в арзамасском братстве.

Впрочем, размежевание произойдет не на два, а на три лагеря. Если Шаховской станет одним из столпов «Беседы», то участие Крылова и Оленина в этом обществе будет во многом номинальным. В полемике 1810-х годов Крылов, Гнедич и Оленин будут держаться особняком. Так по трем дорогам разойдутся участники раннего оленинского кружка.

Пока же, в 1800-е годы, они мирно беседуют то в гостеприимном доме Оленина, то на его загородной мызе.

Еще я прихожу под кров твой безмятежный,  
Гостеприимная приютинская сень!  
Я, твой старинный гость, бездомный странник прежний,  
Твою приютную всегда любивший тень.  
.....  
Здесь часто по холмам бродил с моей мечтою,  
И спящее в глуши безжизненных лесов  
Я эхо севера вечернею порою  
Будил гармонией Гомеровых стихов.

Так писал в 1820 году Гнедич, для которого Приютино на всю жизнь стало надежным пристанищем.

Сын небогатого украинского дворянина, воспитанный Харьковского коллегиума и Московского университетского пансиона, Гнедич в начале 1803 года приехал в Петербург. Писцом в департаменте народного просвещения начал он свою столичную жизнь. Отупляющая работа, копейное жалование! Трудно себе представить, как сложился бы жизненный путь писателя, если бы он не был благожелательно встречен в приютинских пенатах.

Гнедич переводил Шиллера, Шекспира, Вольтера. Как автор собственных пьес Гнедич почти не выступал; лишь в 1815 году он написал комедийное представление с длинным «четырёхэтажным» названием: «Стихотворец в хлопотах, или Вечер утра мудренее, или Пословица навыворот, или Как кому угодно. Комедия в двух действиях, сочинение г. Приютина». Пьеса шла 5 сентября 1815 года на сцене приютинского театра. Главного героя Стихотворца играл сам автор — г. Приютин, домашнее прозвище Гнедича. Сохранилась афиша этого спектакля, на которой Крылов, игравший роль тамбовского откупщика Дубинина, ласково именуется Лентягиновым. И другие актеры имеют свои прозвища: Варвара Оленина названа девицей Ленивиной; ее сестра Анна, за которой в будущем станет ухаживать Пушкин, прозвана девицей Догадкиной; воспитанница Олениных Анна Фурман — Скороговоркиной, и т. п.

На афише приписка рукой Варвары Олениной: «Сочинение Гнедича. Она существует. В ней играл И. А. Крылов. Замечательный был мимик. Но Гнедич, сам автор, играл посредственно. — Зато в трагедии *Едипе* Озерова, из которой мы втроем <Эдипа> — Гнедич, мой брат Алексей Полиника, а я Антигону играли одну сцену для маменьки, тут он был превосходен. Он учил декламации Е. С. Семенову и меня».<sup>9</sup>

Комедия написана Гнедичем специально для постановки в день именин Елисаветы Марковны. Однако же не эта веселая пьеса и не переводы чужих трагедий определили место Гнедича в кружке Оленина, а его работа над переводом «Илиады». Тут скрестились умственные интересы Гнедича и Оленина, их искания новых художественных форм и эстетических идеалов. Но разговор об «Или-

<sup>9</sup> ГПБ, ф. 542, № 359. — Курсив В. А. Олениной.

аде» нельзя начать, пока не представлен еще один участник кружка Оленина.

В середине 1800-х годов в Приютино появился крестник Екатерины II, — это был Сергей Семенович Уваров. Его имя мы встречали среди актеров-любителей, принимавших участие в домашнем спектакле 5 сентября 1806 г. Придирчивый историк может усомниться — ведь в записи Оленина не проставлены инициалы; а что если в трагестроированной «Дидоне» играл другой Уваров, однофамилец Сергея Семеновича? А что если интересующий нас Уваров и слыхом не слыхивал об Оленине в эти годы? На наше счастье сохранилось свидетельство самого Уварова; в его «Литературных воспоминаниях», напечатанных под псевдонимом «А. В.» в «Современнике» в 1851 году, сказано: «Д. Н. Блудов и С. С. Уваров были с ранней молодости в числе коротких приятелей семейства Олениных». <sup>10</sup> И так, путаницы не произошло, — именно Сергей Семенович Уваров становится участником раннего оленинского кружка.

Тридцать лет спустя Пушкин воздаст должное Уварову в стихотворном памфлете «На выздоровление Лукулла»; в глазах Пушкина экс-арзамасец Уваров — один из тех выскочек, которые бесцеремонно отгесняют на задний план представителей старинной и независимой аристократии.

Вероятно, со слов Вигеля Пушкин мог знать некоторые подробности биографии Уварова.

«У одного богатого дворянина древнего рода, Ивана Головина, женатого на одной бедной Голицыной, сестре обер-егермейстера князя Петра Алексеевича, было две дочери. Старшая Наталья, с молода красавица, вышла за упомянутого мною не раз князя Алексея Борисовича Куракина. Меньшая Дарья, следуя ее примеру, искала также блистательного союза. Она старалась уловить в свои сети Степана Степановича Апраксина, а вместо того сама в них попала. Внимая преданиям, я уже обвинял сего последнего в прельщениях, в соблазне молодых девиц. Может быть все это клевета, но есть обстоятельства, которые слышанным мною рассказам дают много вероятности. Когда тот, о коем говорю (т. е. С. С. Уваров, — М. Г.), готов был выступить в мир, матери его ничего не оставалось,

<sup>10</sup> Современник, 1851. № 6, отд. II, стр. 40.

как выйти за первого встречного. Второпях ей однако ж посчастливилось; выбор был весьма недурен.

У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству сей бедный родовой дворянин был флигель-адъютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовала лейб-гренадерским полком, ко-его сама называлась она полковником. Он мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку. Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие прозвали его Сеней-бандуристом. Приятелей было у него много; они сосватали его и уговорили, во внимание к богатому приданому Дарьи Ивановны Головиной, оставить без большого внимания другое приданое, которое приносила ему с собой и в себе. Во время короткого после знакомства моего с г. Уваровым мне случалось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде, с бандурою в руках, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: „Это так, одна фантазия“. Я нашел, однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшей брат его, Федор Семенович. Рано лишился Уваров настоящего или мнимого отца своего». <sup>11</sup>

Справедлива ли молва о том, что Уваров — тайный отпрыск Степана Степановича Апраксина, сына фельд-маршала, или это пустая сплетня, кто знает? Для нас существенно то, что поэт вполне мог слышать эту версию из уст Вигеля. Пушкин не был высипренным моралистом, но ведь речь шла о человеке, который в 1830-е годы стал заклятым врагом его; представление об Уварове как о выскочке обрастало красочными подробностями его происхождения. А поведение этого выскочки все сильнее отталкивало от него Пушкина. Между тем Вигель, талантливый сплетник и искусный интриган, не упускал случая поделиться своими впечатлениями; летом 1831 года он писал Пушкину, что Уваров, потерпев не-

<sup>11</sup> ГПБ, Ф. IV. 276/4, стр. 424—426. — В печатных изданиях записок Вигеля дан сильно сокращенный текст этих страниц и имя Апраксина опущено.

удачу на литературном поприще и на стезе ученого, выбрал ныне «третий путь — разбогатеть — и встретил на нем еще больше препятствий». Наблюдательный Вигель не ошибся: его письмо утвердило мысль о том, что Уваров «знобим стяжанья лихорадкой»; стоило Уварову обнаружить корыстолюбие во время опасной болезни графа Шереметева, как Пушкин дал волю своему темпераменту в «Послании к Лукуллу».

Однако вернемся к началу века.

«В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа. <...> Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах, как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову».<sup>12</sup>

Фортуна благоволила ему. Пятнадцатилетним юношей Уваров был причислен к Коллегии иностранных дел и отправлен для пополнения образования в Геттингенский университет; с 1804 года он камер-юнкер. В столице он пробыл три года; в начале 1807 года он уезжает в Вену на службу в русское посольство.

Жизнь в Петербурге ознаменована сближением Уварова с оленинским кружком, приобщением его к атмосфере неоклассицизма. Влияние Оленина и его друзей оказало решающее воздействие на духовное развитие молодого дипломата; он становится горячим приверженцем античной культуры; занятия ею сопутствуют ему многие годы.

В XIX веке в России вышли первоклассные переводы «Илиады» (Гнедич) и «Одиссеи» (Жуковский); после их появления стало ясно, что Гомера надлежало переводить гекзаметром. Но поэты начала XIX века еще не знали, каким размером русского стиха передавать греческий эпос. В конце XVIII века Костров перевел шесть песен «Илиады» александрийским стихом, излюбленным размером классицизма. Гнедич решил закончить труд Кострова, — он стал продолжать перевод тем же размером. И вот тут-то вмешался Уваров; в 1813 году он опубликовал «Письмо к Николаю Ивановичу Гнедичу о грече-

ском экзаметре»; письмо было написано энергично и убедительно: «Когда вместо плавного, величественного экзаметра я слышу скудной и сухой александрийский стих, рифмою прикрашенный, то мне кажется, что я вижу божественного Ахиллеса во французском платье»,<sup>13</sup> — восклицал Уваров.

Оленин принял сторону Уварова. Гнедич согласился с ними.

Между тем против мнения Уварова выступил Капнист; он предложил избрать для перевода размер русских народных песен.

Итак, три дороги. Костров полагал мостить путь Гомеру в Россию александрийским стихом, Уваров — гекзаметром, Капнист — чисто тоническим стихом. Расхождение между Уваровым и Капнистом выявило неоднородность нового литературного движения. В отличие от ортодоксального классицизма, имевшего в «Поэтическом искусстве» Буало кодекс незыблемых правил, неоклассики не покорялись единому поэтическому ярму. В новом стиле возникали различные и порой эклектические литературные гибриды. Словесная иерархия, строгий табель жанровых рангов были подточены с разных сторон; преромантики и сентименталисты разрушили многие установления поклонников Расина и Корнеля. Вслед за Винкельманом и Гердером неоклассики то пытались воссоздать ясность и простоту греческой трагедии, то напряженно искали истоки своей национальной поэтической культуры. Эти различные преромантические тенденции и вызвали спор между Уваровым и Капнистом.

В 1815 году Уваров ответил Капнисту: «Мы должны <...> представить *отлепок* творения Омерова в духе оригинала, с его формами и со всеми оттенками, таким образом, чтоб мы имели в глазах не Кострова, не Гнедича, но Омера — Омера в чистейшем созерцании природной его красоты, Омера в том виде, в каком он пленял законодателя Спарты, победителя Азии, александрийских мудрецов и весь, одним словом, блистательный ряд его любителей в древнем и новом мире. Вот в каком отношении могут древние действовать над нами; но, чтоб достигнуть сей цели, чтоб распространить благодетельное

<sup>12</sup> Вигель, т. 2, стр. 59.

<sup>13</sup> Чтение в Беседе любителей русского слова, СПб., 1813, чт. 13, стр. 65.

их влияние, необходимо нужно признать первым правилом, что *формы* в поэзии неразлучны с *духом*, что между формами и духом поэзии находится та же самая таинственная связь, как между телом и душою; что обоюдное их влияние и действие — формы на мысль, а мысли на форму — так тесны, что никак нельзя определить истинных границ их, а еще менее расторгнуть их союз, не жертвуя тою или другою». <sup>14</sup>

Началась эта полемика, когда Пушкину было четырнадцать лет, кончилась, когда ему исполнилось шестнадцать.

Пройдут годы. Пушкин будет искать и экспериментировать. Многие привлечет его пылливый ум — от античной антологии до песен западных славян; поэтический мир многих народов найдет воплощение в его творениях. Золотое правило о единстве формы и мысли станет для него творческой аксиомой. Так литературные споры начала века, дружеские состязания между участниками раннего оленинского кружка войдут в сознание Пушкина, помогут ему в его поэтическом созревании.

А русской литературе этот спор принесет совершенный перевод «Илиады». Вспомним, что в 1813 году Гнедич, продолжая труд Кострова, перевел александрийским стихом несколько песен греческого эпоса. Шесть лет напряженной работы были позади, тысячи стихотворных строк лежали готовыми. И вот Гнедич совершает подвиг отречения. Он начинает переводить «Илиаду» заново, от первой строчки до последней, теперь уже размером гекзаметра. Свыше пятнадцати лет посвятит он этому переводу. В 1830 году «Илиада» Гнедича увидит свет, и восхищенный Пушкин посвятит этому событию элегический дистих:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,  
Старца великого тень чую смущенной душой.

Звук «божественной эллинской речи» вдохновлял и ближайшего друга Гнедича — Батюшкова.

С 1802 года Батюшков жил в доме своего родственника, поэта и государственного деятеля Михаила Никитича Муравьева, горячего поклонника античности, видного представителя русской образованности. Приятель

<sup>14</sup> Там же, 1815, чт. 17, стр. 56—57.

Львова, Хемницера, Капниста и Державина, он был одним из тех писателей, которые освобождали отечественную литературу от тяжеловесных вериг традиционного классицизма; по самому существу своей поэтической натуры он был естественным союзником оленинского кружка.

Эстетический идеал Батюшкова образовался под воздействием Муравьева. «Воспитанный под надзором своего родственника Михаила Никитича Муравьева, он знал хорошо языки: латинский, французский, немецкий и итальянский, и знал хорошо их литературу. Из всех он оказывал преимущество итальянской и потом римской. В первой правилась ему сила, пламенная нежность и роскошь картин; во второй — античная стройность формы, сила в краткости и строгая точность выражений. Он был, по преимуществу, классик, даже и в самых сладострастных своих картинах, которые пленяли нас, юношей, как нечто совершенно новое в нашей поэзии, вместе с сладостною и стройною силой его языка!» <sup>15</sup>

В доме Муравьева познакомился и сблизился Батюшков с Олениным. Лишь участие в военных действиях против войск Наполеона да отъезды в деревню или Москву прерывали их общение. Но стоило Батюшкову вернуться в столицу, он сразу же появлялся у Олениных.

В эти же годы стал бывать у Олениных двоюродный брат Озерова — Дмитрий Николаевич Блудов, чиновник Коллегии иностранных дел.

По фамильному преданию, Блудовы вели род свой от Киевского воеводы Иона Блудта, жившего на рубеже X и XI веков. Несколько столетий спустя, по присоединении южной России к Литве, Федор Блудт, или уже Блудов, перешел в подданство великих князей Московских; внуки его отличились при Иване Грозном — одни на дипломатическом, другие на военном поприще.

Дмитрий Николаевич родился в 1785 году во Владимирской губернии, недалеко от города Шуи, в селе Романове, пожалованном его предку Назарию Блудову, по прозванию Беркуту, за участие в походе Минина и Пожарского. Отца своего Дмитрий Николаевич почти не

<sup>15</sup> Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 178, № 8184, ч. 1, стр. 163—164 (из воспоминаний Михаила Александровича Дмитриева, племянника И. И. Дмитриева).

помнил; любитель псовой охоты, он умер молодым, простудившись в отъезде в поле; будущий арзамасец остался на попечении матери, Екатерины Ермолаевны, женщины умной и дальновидной. Когда сын подрос, она переехала с ним в Москву и наняла для его образования лучших московских профессоров. В 1800 году Блудов поступает на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел, а в октябре 1802 года его переводят на службу в столицу. По его настоянию, как мы уже упоминали, Озеров возвращается в Петербург. Невзирая на разницу лет (Блудов был моложе Озерова на шестнадцать лет), двоюродные братья быстро сближаются. Блудов признается, что он потерял голову от княжны Щербатовой; он любим, но, увы, мать ее неумолима, — она считает его не парой для своей дочери. Озеров принимает близко к сердцу признание своего молодого кузена, он ему искренне сочувствует, ведь он сам пережил трагедию; только ему одному открывает он имя женщины, которую безнадежно любил и память о которой свято хранит. В уста Антигоны Озеров вкладывает нежность и пылкость своей возлюбленной. Блудов запоминает на лету ее взволнованные монологи и спешит к Щербатовым — там, задыхаясь от волнения, он читает их своей избраннице. В конце концов судьба отнесется к нему благосклоннее, чем к Озерову. Непреклонность княгини Щербатовой натолкнется на непреклонность ее дочери, которая будет неизменно отказывать всем женихам; скрепя сердце, княгиня даст согласие на их брак. Но счастливая развязка произойдет позднее, девять лет спустя. А пока, слушая в доме Оленина первые чтения «Эдипа в Афинах», Блудов бурно переживает страдания Антигоны.

Успех трагедии Озерова в Петербурге побудил автора хлопотать о ее постановке в Москве. Посредником выступает Блудов. Он пересылает список трагедии Жуковскому, с которым подружился в годы своей жизни в Москве. Жуковский передает рукопись Михаилу Петровичу Волконскому, управляющему московским театром: «... список, который у Волконского и в котором все на все пять ошибок, мною исправлен и оставлен у Волконского. Роли выучены <...> представление однакож отложено до зимы...», — писал Жуковский Блудову.<sup>16</sup> Мос-

<sup>16</sup> «Радуга», Пг., 1922, стр. 18.

ковская премьера состоялась к концу сентября 1805 года, театр был полон, зрители восторженно приняли трагедию.

Перед нами прошли многие участники раннего кружка Оленина. Мы попытались очертить их силуэты, воссоздать их оживленные споры и литературные занятия. Наш пролог подходит к концу. И здесь-то уместно сказать несколько слов о «Драматическом вестнике», — ведь этот первый в России театральный журнал явился и первым вестником распада дружеских связей, столь прочно, казалось, соединивших писателей оленинского круга.

Мысль о «Драматическом вестнике» заронил энергичный Шаховской; участники кружка поддержали эту идею, — с начала 1808 года журнал стал выходить. На его страницах — басни Крылова, стихи Шаховского, Марина, Батюшкова, Гнедича, статьи Шаховского и Оленина. Среди сторонних вкладчиков «Драматического вестника» мы встречаем Державина, вездесущего графа Хвостова, адмирала-филолога Шишкова, «безглагольного» Ширинского-Шихматова (он презирал глагольные рифмы), поэта Бунину.

Журнал печатал театральные рецензии, переводы из сочинений Вольтера, Гольдони, Лагарпа, Баттё о драматическом искусстве, биографии выдающихся актеров. Для чего же издавался журнал? «... ежели возможно, — заявляли его издатели, — будем сими средствами спешествовать к отвращению дурного вкуса, который, царствуя в новых иностранных творениях, развращающих ум и сердце, угрожает заразить и нашу словесность».<sup>17</sup>

«Драматический вестник» вел огонь из всех батарей по «слезной комедии», порицал пьесы Коцебу и его немецких подражателей, отвергал драмы Дидро и Бомарше. Это была схватка сословий, попытка уберечь сцену от «подлых» пьес буржуазного репертуара. Однако не журнальная полемика решала в конечном счете исход сражения; он решался на сцене. «Коцебятина» наводняла театральные подмостки. Ревнители классической традиции противопоставляли ей автора «Липецких вод».

Для борьбы с новыми веяниями как никогда требовалось единство тех, кто ратовал против «слезной комедии». И тут-то случилось непоправимое — единодушные

<sup>17</sup> Драматический вестник, 1808, ч. I, стр. 7.

покинуло участников раннего оленинского кружка; на исходе 1800-х годов он распался.

Первые симптомы «болезни» — неладья между прежними друзьями — появляются с осени 1808 года. Шаховской быстро шел в гору, у него на квартире все чаще собирались литераторы и актеры. Общество оленинских друзей стало его тяготить; он захотел сам быть первой скрипкой. Какие-то трения возникли и в связи с изданием «Драматического вестника». Оленин писал Дмитрию Ивановичу Языкову, одному из сотрудников журнала (письмо без даты, но, конечно, оно писано в 1808 году, когда издавался «Драматический вестник»):

«Что за гром грянул? из какой это тучи? боже мой! Это князь Александр Александрович Шаховской за кулисами ящик с камнями изволил катать, я до полусмерти перепугался, — и потому спешу вас уведомить, что с тех пор, как нам на ушко шепнули некоторые слова из Фигаровой свадьбы, как-то например: <il faut> que nous ne parlions pas dans nos écrits, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui y tienne a quelque chose, — nous pourrions tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs, из коих comme partie intéressée<sup>18</sup> был бы конечно и князь Шаховской, что он ныне и доказывает, — то я, удаляясь от зла и сотворяя благо, удалился от соучастия в драматическом журнале. Следственно можете вы в нем печатать и не печатать все, что вам угодно. — Впрочем, это дело таково, что не здесь будет напечатано, так в другом месте, не сего дня, так завтра, а напечатается, так разгласится.

Мне приятно видеть в князе Шаховском, — с иронией продолжает Оленин, — ревность его к защищению *начальнического* его достоинства и *посрамления*, как он говорит, актеров. — Мне бы желательно было в нем видеть ту же ревность в наказании актеров, когда они перед почтенною публикою себя посрамляют и тем доказывают к ней презрение; так же начальническую его власть над ними, когда они бурлят. Но этого кажется нам не удастся видеть».

<sup>18</sup> Не следует намекать в наших статьях, операх и других представлениях на лиц, которые имеют кой-какой вес, мы смогли бы все свободно печатать, под надзором двух или трех цензоров, из коих как сторона заинтересованная (*фр.*).

Обиды прорвались наружу. И вот еще одна в конце письма: «Мне дирекция второй год должна 3000 р. да не платит. — Нельзя ли вам это при случае напомнить князю Шаховскому».<sup>19</sup>

Первая часть письма Оленина загадочна. Неизвестно, какие цензурные препятствия чинили «Драматическому вестнику»; непонятно, о каком цензурном триумвирате он упоминает. Ясно одно: его отношения с Шаховским крайне обострились; нараставшая неприязнь была чревата роковыми последствиями для всего оленинского кружка, который в те годы был прежде всего кружком драматургов, державших в своих руках репертуар петербургских театров.

В это же время Озеров неожиданно подает в отставку и уезжает в деревню. Именно неожиданно, ибо слава его гремела. В декабре 1805 года торжествовал его «Фингал», а в январе 1807 года премьера «Димитрия Донского» принесла ему восторженные оvationи. «За три первые трагедии: Эдипа, Фингала и Димитрия государь лично изъявил ему свое благоволение и подарил за каждую по перстню; за Димитрия с вензелем, такой же как ныне Жуковскому»,<sup>20</sup> — вспоминал Блудов. И тем не менее, рассудку вопреки, летом 1808 года Озеров вторично уходит в отставку. Повышенная мнительность и болезненное самолюбие — чьи-нибудь неслестные отзывы о его трагедиях (на недоброжелательных «лягушек» намекает Батюшков в басне «Пастух и соловей», посвященной Озерову и напечатанной в сентябре 1808 года в «Драматическом вестнике»), а возможно — и мелкие служебные неприятности, которые в его воображении представлялись во сто крат большими, снова загнали его в деревенскую глушь.

Не проходит года, как он присылает Оленину свою новую трагедию — «Поликсену»; в феврале 1809 года она уже передана в дирекцию императорских театров;<sup>21</sup> вскоре ее злоключения наносят жестокий удар автору. Как развертывались события, какое множество препятствий заградило дорогу к успеху «Поликсены», рассказывает Оленин в письме к Озерову. На черновике письма дата — 18 мая 1809 года:

<sup>19</sup> ГПБ, ф. 542, № 155.

<sup>20</sup> Гиллельсон, стр. 374.

<sup>21</sup> ЦГИА, ф. 497, оп. 1, № 469, л. 2.

«По данной вами доверенности началось дело чтением Поликсены в моем доме при Шаховском и Крылове. По прочтении решено было учить пиесу так точно, как она написана, с тем чтоб видеть уже на репетициях, какие места могут быть неудобны в представлении. Таким образом продолжалось учение Поликсены, но продолжалось весьма медленно по многим причинам. 1-ая что здесь мамзель Жорж и Дюпор убили совершенно русский театр, о котором дирекция совсем уже не радеет. 2-ое князь Шаховской решил совсем убить Семенову, чтоб воздвигнуть милую сердцу его г-жу Валберхову, которой однакож публика отдаст должную справедливость шиканиями своими и негодованиями. <...> Вот почему театр русский, оставленный на произвол судьбы, во всех частях колобродит. Между тем Яковлев принялся, не знаю точно по какой из трех причин русского народа — с ничего, с радости ли, с печали или со скуки, но как бы то ни было, он пьет мертвую чашу, следственно на репетиции ходить страшно, или обругает, или ушибет.

<...> Репетиции шли медленно по той еще причине, что князь Шаховской занят очень был переведенной им трагедиею Китайской сироты, где г-жа Вальберхова явилась действительно в виде китайской куклы.

<...> Наконец и потому долго это все тянулось, что по многим причинам я от дому Нарышкиных несколько поотдалился и с театром мало уже знаком, а с Шаховским расстался, ибо он как

*Душа погрязшая в кривых путях порока*

не может уже быть знаком с порядочными людьми. Его все оставили: Пушкин, Гагарин, де Бальмен, Воронцов, Марин, Арсеньев и аз многогрешный.<sup>22</sup> Он все пороки актерские к себе присвоил, зависть, злобу, сплетни и проч.»<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Пушкин — Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович, граф, чиновник Коллегии иностранных дел; Гагарин — возможно, Иван Алексеевич — камергер, шталмейстер; де Бальмен Карл Антонович — граф, поручик Преображенского полка; Воронцов Михаил Семенович — граф; Арсеньев Николай Васильевич — подпоручик Преображенского полка. Все эти лица были вхожи в дом Оленина; большинство из них — близкие приятели Марина.

<sup>23</sup> ГПБ, ф. 542, № 121.

Оленин колебался, посылать ли это подробное письмо Озерову. Наконец, 27 мая он написал краткое письмо, которое, по всей вероятности, и отправил автору «Поликсены». Этот окончательный вариант письма примечателен некоторыми подробностями, которые отсутствуют в расширенной редакции: «Шаховской кричали и горячился во всем токмо, что относилось до роли Кассандры, которая предоставлена была г-же Валберховой, а прочим мало занимался; а И. А. Крылов, по обыкновению своему, ни да ни нет не говорил».

При сложившейся столь неблагоприятно ситуации «Поликсена» была обречена на неуспех; 14 мая 1809 года бесславно прошла ее премьера; сбор был небольшой. Ее сыграли всего два раза. Дирекция императорских театров отказалась выплатить Озерову обещанные 3000 рублей. Возмущенный Оленин забрал трагедию из театра и обратился к А. Л. Нарышкину с письмом, настоятельно требуя уплаты Озерову законного гонорара.<sup>24</sup>

Под нажимом Оленина А. Л. Нарышкин написал 4 апреля 1810 года прошение на высочайшее имя:

«Трагедия Поликсена поступила на театр от сочинителя г-на Озерова с условием, что ежели она будет иметь успех и принесет выгоды дирекции, то за оную следует заплатить 3000 рублей: в два представления от трагедии дирекция собрала 1846 р. 23 к., из чего и заключая, что сия трагедия не может быть выгодна для оной, остановилась ее представлять; но дабы у автора, сделавшего уже себе имя прежними творениями, не отнимать охоты к сочинению впредь, несмотря на малый успех его последней трагедии, дирекция, не имея сумм на уплату за оную, испрашивает на сие высочайшего соизволения».<sup>25</sup>

21 мая А. Н. Голицын сообщил А. Л. Нарышкину об отказе Александра I удовлетворить просьбу дирекции императорских театров;<sup>26</sup> 13 июня Шаховской известил Оленина о том, что за «Поликсену» автору уплачено не будет.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> ЦГИА, ф. 497, оп. 1, № 469, л. 1 (письмо от 11 февраля 1810 года).

<sup>25</sup> Там же, № 547, л. 1.

<sup>26</sup> Там же, л. 3.

<sup>27</sup> ГПБ, ф. 542, № 334.

Озеров, не знавший всех перипетий событий, обвинял Шаховского в кознях и подкопах против него. Несколько лет спустя автор «Поликсены» сошел с ума; он скончался в 1816 году. В это время уже бушевала литературная война между арзамасцами и Шаховским. Обвинения Озерова были подхвачены, умножены, трагик был объявлен жертвой Шаховского. Так в ходе литературных боев возникла полемическая легенда, образ Озерова приобрел черты мученика, пострадавшего за свои творения.

На самом же деле «корень зла» лежал не во враждебном отношении Шаховского к «Поликсене» и ее автору, а в распаде раннего олеинского кружка, в неблагоприятных театральных условиях, встретивших новую трагедию Озерова. «Поликсену» умертвила смута, возникшая при крушении кружка Оленина 1800-х годов.

Были и другие симптомы, предвещавшие надвигающийся кризис, — с 1807 года вырисовываются очертания будущей «Беседы любителей русского слова»; центр литературной жизни столицы постепенно перемещается на Фонтанку, на квартиру Державина.

Не за горами время, когда запылает эпиграмматическая война между беседчиками и арзамасцами; одна из первых ласточек грядущих баталий — эпиграмма Блудова:

Угодно ль, господа, меж русскими певцами  
Вам видеть записных Карамзина врагов?  
Вот комик Шаховской с плачевными стихами  
И вот бледнеющий над святцами Шишков.  
Они умом равны, обоих зависть мучит;  
Но одного сушит она, другого пучит.

Посылая эту эпиграмму брату Николаю, Александр Тургенев писал ему 19 марта 1809 года: «Надобно знать, что к<нязь> Шаховской толст, как бочка, и написал 20 дурных комедий, а Шишков все восхищается Четиминеей и Святцами».<sup>28</sup>

Несколько лет тому назад Блудов и Шаховской заочно встречались у Олениных; теперь они литературные недруги.

И чем дальше, тем острее и непримиримее будут взаимные отзывы писателей, которые некогда дружелюбно беседовали в Приютине.

<sup>28</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911, стр. 384.

\* \* \*

«Было бы очень благодарной задачей уловить то настроение, с которым жили десятки литераторов, независимо от того или другого историко-литературного направления, определить ту нравственную атмосферу, которая окружала их, или, применяя опять новый термин, выявить ту психическую организацию, которая отличала бы людей последних десятилетий XVIII века и первого десятилетия XIX века. Это была какая-то особая сфера, совершенно непонятная нам теперь. С психологической стороны нам понятнее, т. е. доступнее для нашего восприятия, сфера даже XV—XVI веков или эпохи Петра, потому что настроение этих эпох может быть охарактеризовано резкими чертами. Но эпоха последних десятилетий XVIII века и начала XIX века носит какой-то особый стиль».<sup>29</sup>

Ценные наблюдения академика В. М. Истрина смыкаются с более поздними высказываниями В. А. Десницкого: «Развитие русской литературы периода с 1789 г. до разгрома восстания декабристов и полного расцвета творческих сил Пушкина и в наши дни еще нельзя признать вполне осмысленным. Особенно это нужно сказать о последнем десятилетии XVIII и первом XIX в.».<sup>30</sup>

С тех пор прошло три десятилетия, и все-таки следует признать, что эта эпоха продолжает быть недостаточно изученной. Правда, разыскания Ю. М. Лотмана о преддекабристских тенденциях в литературе начала XIX века и исследования В. Н. Орлова о писателях-радищевцах доставили новые материалы и осветили некоторые историко-литературные процессы, раньше не привлекавшие должного внимания. И тем не менее *целостное* изучение литературы начала XIX века еще далеко до своего завершения. Более того. Систематическое исследование литературы пушкинской поры, и в первую очередь творчества Пушкина и поэтов-декабристов, привело к парадоксальному положению вещей: на фоне успехов, достигнутых отечественным пушкиноведением, наши знания о предшествующей эпохе представляются еще более

<sup>29</sup> В. М. Истрин. Опыт методологического введения в изучение русской литературы XIX века. Вып. 1. СПб., 1907, стр. 71.

<sup>30</sup> История русской литературы. Т. V. М.—Л., Изд. АН СССР, 1941, стр. 4.

приблизительными, чем во времена академика В. М. Истрина.

Талантливые труды Г. А. Гуковского возбудили повышенный интерес к истории русского романтизма. За последние годы эта тенденция, в основном безусловно положительная, привела к тому, что проблема романтизма в некоторых общих работах по истории русской литературы первой половины XIX века во многом заглохла собою остальные процессы и явления.

На самом деле историко-литературный процесс первых десятилетий XIX века был значительно более сложным. Стремительное развитие литературы втиснуло в небольшой временной отрезок писателей различных эстетических устремлений. Устои русского классицизма подтачивались с разных сторон: вначале это были волны сентименталистской и преромантической литературы, затем стали накатываться волны неоклассицизма и романтизма. Эти новые течения, иногда соперничавшие, а порой вступавшие между собой в сложные творческие взаимоотношения, составили пеструю «мозаику» русской литературы первых десятилетий XIX столетия.

Какое же направление в искусстве и по какой причине выдвинулось на первый план в этой сложной культурно-исторической обстановке? Для историков культуры несомненно, что начало XIX века было временем расцвета русского ампира. В основе этого процесса, охватившего различные области, — общественный подъем, вызванный войнами с Наполеоном и победой в Отечественной войне 1812 года, победой, повлекшей за собой и укрепление русской государственности, и чреватой в будущем политическими потрясениями: ведь передовые русские офицеры возвращались в Россию воодушевленные идеями свободы.

Героические и монументальные формы искусства станут влиять на эстетический идеал будущих декабристов, вскроется социальная многоплановость ампира — в стиле эпохи сойдутся крайние противоположности общественного развития, апологеты власти и ее отрицатели.

Однако эстетика ампира не ограничивалась исключительной ориентацией на античное искусство. По справедливому утверждению Б. В. Томашевского, «стиль ампира вовсе не сводился к слепой имитации античных форм; этот стиль явился на смену классицизму

XVIII века под влиянием сентиментальной оппозиции классическим формам придворных салонов. Чувствительность была определяющим признаком нового стиля. Из античности брались наиболее чувствительные произведения; к этому времени относится успех „Дафниса и Хлои“ (французский перевод Курье 1812 г.), в лирике переводились и имитировались элегии Тибулл, Катулл, Проперций. Меланхолия, мечтательность пролагали пути к иным влияниям, далеким от древности: ампиризм находил источники литературных вдохновений далеко от латинской и греческой древности, и не меньше, чем римские элегии, настроение века определяет Оссиан. „Северные поэмы“ литературы немцев и англичан, темы скандинавской мифологии так же модны, как античные вазы и статуи, и не менее стильны в общей эстетике века».<sup>31</sup>

Из этого определения явствует, что неоклассицизм представлял собою литературное направление, в котором сентиментальные и преромантические веяния уживались с идеалом античного искусства.<sup>32</sup>

Именно в неоклассицизме сосредоточились эстетические устремления раннего кружка Оленина, оказавшие существенное воздействие на художественную атмосферу 1810-х годов — десятилетия, когда созрел и окреп поэтический гений Пушкина.

<sup>31</sup> К. Б а т ю ш к о в. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1936, стр. 29—30.

<sup>32</sup> Представление о «монолитности» литературных направлений подвергается сомнению в современной науке. По утверждению Г. Ремака, в настоящее время «все чаще подчеркивается постепенность перехода от одного периода к другому, их общие черты и одновременность различных литературных явлений». (Цит. по: И. Ш е т е р. Романтизм. Предыстория и периодизация. — В кн.: Европейский романтизм. М., «Наука», 1973, стр. 53).

## «АРЗАМАС»

## Глава первая

Филипп Филиппович Вигель не имел родословной длиной в восемь столетий. Отец его, киевский комендант, а затем губернатор в Пензе, по происхождению был «финн, или эст, или, попросту сказать, чухонец», как в сердцах писал сам Вигель; по матери Филипп Филиппович принадлежал к захудалому дворянскому роду Лебедевых. Неказистая генеалогия отравила всю жизнь Вигеля.

Отрочество он провел в домах знатных вельмож; гордый и самолюбивый от рождения, он чувствовал себя беспредельно униженным в роли малолетнего нахлебника; в довершение всех зол аристократические сверстники, с которыми он воспитывался, приучили его к извращенному удовлетворению страстей. Желчным, завистливым, искалеченным вступил он в свет.

По протекции Ф. В. Ростопчина в 1800 году его определили в московский архив Коллегии иностранных дел. Там он познакомился с Александром Тургеневым и Блудовым; близость к ним помогла затем Вигелю продвигаться по службе. А продвигаться было трудно; неуживчивого характера, способный, но заносчивый, любивший манкировать своими обязанностями, он медленно подымался по бюрократической лестнице. К 1816 году он достиг лишь должности правителя канцелярии архитектурного комитета столицы.

«С первого взгляда он не поражал благородством осанки и тою изящною образованностью, которою отличаются русские дворяне, — писал о Вигеле знавший его

в середине 1810-х годов Ишполит Оже. — Круглое лицо с выдающимися скулами заканчивалось острым прямым подбородком; рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку и тогда становились похожи на круглую вишенку. Это случалось при всяком выражении удовольствия: он как будто хотел скрыть улыбку. Речь его, обильно пересыпанная удачными выражениями, легкими стишками, анекдотами, и все это вместе с утонченностью выражения и щеголеватостью языка придавало невыразимую прелесть его разговору. Но иногда его заостренные словечки больно кололись: очень остроумным нельзя быть без некоторой дозы злости».<sup>1</sup>

А злости у Вигеля с лихвой хватало бы на десятерых; она так и искрилась в его черных глазах. Он постоянно вертел в руках табакерку, играя ею и нервно постукивая по ней; когда же ему хотелось сказать что-нибудь колкое, то он, беря щепотку табаку, как будто клевал по табакерке пальцами: казалось, что птица клюет клювом. И прозвали его в «Арзамасе» Ивиковым журавлем.

На заседаниях общества он не первенствовал, а скромно держался в тени. Литература никогда не была для него кровным делом, особой вражды к беседчикам он не испытывал и даже считал, что «Беседа» во многом принесла пользу. Близость Вигеля в середине 1810-х годов к дому Оленина, а затем к арзамасскому содружеству диктовалась в первую очередь деловыми соображениями, желанием поддерживать приятельские отношения с людьми, которые могли быть ему полезны. И тем не менее для истории «Арзамаса» Вигель — лицо первостепенное; в его «Записках», ценнейших среди мемуарных полотен первой половины XIX столетия, много страниц отведено литературной жизни пушкинской эпохи; в них запечатлены арзамасцы и их противники, живописуются собрания «Арзамаса» и «Беседы».

«Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний „Беседы“ отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние, торжественные собрания „Беседы“. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших го-

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Вигель, т. 1, стр. 34.

стей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были сидалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах,<sup>2</sup> вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах. <...>

Наподобие Государственного совета, составленного из четырех департаментов, и „Беседу“ разделили на четыре разряда, и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по несколько членов и по несколько членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию „Беседы“. Вообще она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах».<sup>3</sup>

Залетному путешественнику, попавшему в столицу, должно было казаться, что «Беседа» самодержавно господарит в петербургском литературном мире. Впечатление это было обманчивым.

На первых порах недовольные группировались вокруг «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», а затем с 1815 года цитаделью оппозиции становится «Арзамас». Вот как он возник.

21 сентября 1815 года Крылов, Гнедич, Жуковский, Дашков, Александр Тургенев, Жихарев и Вигель были в гостях у Блудова; справляли именины хозяина дома и Дашкова.

«Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах, под названием „Липецкие воды или Урок кокеткам“, — вспоминает Вигель. — Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух оленистов».<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Со времен Петра I возник обычай дарить придворным дамам в знак благоволения миниатюрный портрет императора (или императрицы); в торжественных случаях эти портреты прикрепляли к платью.

<sup>3</sup> Вигель, т. 1, стр. 360—361.

<sup>4</sup> Там же, т. 2, стр. 61.

Крылов и Гнедич, — это их мемуарист называет «оленистами», — чувствовали себя неловко; предложение о совместном посещении театра застало их врасплох: ведь они знали то, что было тайной для остальных участников обеда.

В эти годы кружок Оленина был невелик, всего пять-шесть человек: сам Оленин, Крылов, Гнедич, археолог и нумизмат Александр Иванович Ермолаев, поэт и переводчик Михаил Евстафьевич Лобанов (позднее, в 1836 году, его верноподданническая речь в Российской академии вызовет резкую статью Пушкина в «Современнике»).

И хотя в хлебосольном доме Оленина по-прежнему было многолюдно, сие обстоятельство не способствовало увеличению кружка, составлявшего замкнутую касту с особыми мнениями и правилами. Они стояли в стороне, особняком, не примыкая ни к шишковистам, ни к их противникам. 11 июня 1815 года Жуковский писал А. П. Елагину об Оленине: «... дом его есть место собрания авторов, которых он хочет быть диктатором — в этом доме бывал и Батюшков, которого место занял теперь я; здесь бранят Шишкова, и если не бранят Карамзина, то по крайней мере спорят с теми, кто его хвалит...».<sup>5</sup>

«Оленисты» бранили под сурдинку Шишкова, но внешне с беседчиками ладили и знали от них, что премьер «Липецких вод» вызовет бурю на Парнасе.

«В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно, что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее».<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Уткинский сборник. М., 1904, стр. 13.

<sup>6</sup> Вигель, т. 2, стр. 61.

Дашков напечатал в журнале «Сын отечества» издательски учтливое «Письмо к новейшему Аристофану», в котором так и бил с плеча Шаховского. По рукам пошла едкая кантата Дашкова; услужливый Вигель, называвший себя в шутку шпионом или лазутчиком, изловчился доставить кантату автору «Липецких вод».

Вчера в торжественном венчанье  
Творца затей,  
Мы зрели полное собрание  
Беседы всей;  
И все в один кричали строй:  
Хвала тебе, о Шутовской!  
Тебе герой, тебе герой!  
Он злой Карамзина гонитель,  
Гроза баллад!  
В беседе грозный усыпитель,  
Хвостову брат,  
И враг талантов записной,  
Хвала тебе, о Шутовской!  
Тебе герой, тебе герой!

Из Москвы спешил на подмогу Вяземский; он пустил в Шаховского «Письмо с Липецких вод» и множество эпиграмм; сражение становилось со дня на день ожесточеннее.

«Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием „Видение в какой-то ограде“. Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате: Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедывать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского

с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи».<sup>7</sup>

Конечно, все тот же пронырливый Вигель «услужил» Шаховскому; Вигель частенько посещал своего дальнего родственника, писателя Загоскина, который дружил с Шаховским; через него-то и передавались Шаховскому вражеские «подарки».

Еще в октябре 1813 года Вяземский писал Александру Тургеневу: «Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: „и душа в душу, и рука в руку?“».<sup>8</sup>

Два года спустя такое время наступило; поток «Липецких вод» переполнил чашу терпения карамзинистов; 14 октября 1815 года состоялось организационное заседание «Арзамасского общества безвестных людей». Не вельможи с лентами и орденами, не государственные мужи, убеленные сединами и обремененные высокими должностями, а безвестные люди — в самом названии будущего общества полемика с «Беседой», с ее торжественным ритуалом, с ее безупречным чинопочтением.

В этот день их было шестеро: Уваров, Блудов, Александр Тургенев, Жуковский, Дашков и Жихарев.

Уваров и Блудов знакомы читателю по раннему кружку Оленина; они продолжают посещать его дом, но не столь часто, как прежде; позиция «третьей силы», которую занял триумвират Крылова, Гнедича и Оленина, не устраивала ни Уварова, ни Блудова. Они искали новых союзников и нашли их в Дашкове и Жуковском, переехавших из Москвы в Петербург.

Уварову по-прежнему везло. В марте 1807 года он очутился в Вене; служба в тамошнем русском посольстве многому научила молодого дипломата. Он сближается с графом Людвигом Кобенцем, австрийским послом в России в 1779—1797 годах, и его сестрой, графиней

<sup>7</sup> Там же, стр. 62.

<sup>8</sup> ОА, т. 1, стр. 19.

де Ромбек, которая жила в Петербурге при брате. Познакомился Уваров и с 72-летним князем Карлом-Иосифом де Линь, австрийским фельдмаршалом, участником «семи-летней войны»; де Линь имел звание и русского фельдмаршала — он удостоился его за блестящие словесные турниры с Екатериной II. В венских особняках Уварову посчастливилось услышать биение пульса Зимнего дворца последних десятилетий XVIII века; перед ним приоткрылась не одна утаенная страница екатерининского царствования. Живые осколки прошлого столетия, эти люди приобщили полюбившегося им молодого чиновника русского посольства и к сложным перипетиям европейской политики. Русский экс-посол в Вене граф Андрей Кириллович Разумовский, фанатичный противник Наполеона, также оказывал внимание Уварову.

В декабре 1807 года в Вену приехала французская писательница мадам де Сталь; Уваров был ей представлен в доме графа Кобенцля.

«Среднего роста, довольно полная, она была одета в этот день в зеленое платье с большими золотыми звездами. На голове у нее был малиновый тюрбан, придерживавший черные, как вороново крыло, локоны. На груди миниатюра — портрет г. Неккера; на плечи была небрежно накинута шаль; в руках веер, любимая игрушка г-жи де Сталь <...>

Наиболее замкнутые салоны высшей аристократии открыли ей свои двери. Возможно, что ненависть, питаемая к Наполеону, способствовала популярности его жертвы. Венское общество было очень предупредительно к г-же де Сталь. <...> Она привезла с собой часть своего хозяйства и два-три раза в неделю устраивала у себя обеды, на которые по очереди приглашала шесть-семь человек, наиболее подходящих друг к другу, которые единодушно признавали эти обеды очень приятными и более парижскими, чем венскими, по своему характеру».<sup>9</sup>

Среди избранных в салоне мадам де Сталь часто появляется Уваров; вскоре он даже становится поверенным ее сердечных тайн.

<sup>9</sup> S. O. u v a r o f f. Madam de Stael. Отдел письменных источников Гос. историч. музеев. Подлинник по-французски. Цит. по: С. Н. Дурылин. Г-жа де Сталь и ее русские отношения. — Литературное наследство. Т. 33—34. М., 1939, стр. 233, 238. — Неккер — отец мадам де Сталь.

В мае 1809 года Уварова переводят ненадолго в Париж; в следующем году он возвращается в Россию, и тут судьба приготовила своему любимцу тяжелое испытание. Мать его отдала имение за большие проценты под залог откупщику; мать скончалась, откупщика объявили несостоятельным, Уварову угрожало разорение. Нужно было срочно спасти положение. Среди его знакомых оказалась фрейлина Разумовская, дочь графа Алексея Кирилловича. Она была старше Уварова, но богата. «Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил фортуна его. Вскоре после совершения его тесть его, граф Алексей Кириллович, назначен был министром народного просвещения. Он тотчас доставил ему, с чином действительного статского советника, место попечителя Санкт-Петербургского учебного округа...».<sup>10</sup>

Это произошло в 1811 году; Уварову тогда исполнилось 25 лет. Его блистательной карьере можно было позавидовать. Правда, он ее купил ценой брака по расчету, но стоило ли вспоминать об этом, когда дом — полная чаша, когда вне очереди идут чины, когда несколько лет спустя он станет президентом Академии наук?

В отличие от женитьбы Уварова брак Блудова не был скоропалительным. Его чувство к княжне Щербатовой осилило в конце концов аристократическое высокомерие ее матери; долгожданная свадьба состоялась 28 апреля 1812 года; шаферами жениха были Жуковский и Александр Тургенев.

Вскоре Блудова назначили поверенным в делах русского посольства в Швеции, и в сентябре 1812 года молодые уехали в Стокгольм. При тогдашних обстоятельствах Блудову надлежало проявить много такта, сметки и изворотливости в шведской столице: там, на родине Карла XII, громко раздавались голоса за вступление Швеции в войну против России. Блудов помог наследному принцу Бернадоту одолеть французскую партию — Швеция стала участником антинаполеоновской коалиции.

Почти два года провел Блудов в Стокгольме. Истинным подарком судьбы в это трудное время явилось для него знакомство с мадам де Сталь. После вторжения Наполеона

<sup>10</sup> В и г е л ь, т. 2, стр. 60.

в Россию французская писательница в страхе покинула Петербург и поспешила на север, в Швецию.

Мадам де Сталь жила в Стокгольме с взрослой дочерью, с сыновьями и немецким писателем Вильгельмом Шлегелем, их воспитателем; Блудовы — с молодой свояченицей Марией Андреевной Щербатовой. Оба семейства сблизились, и вскоре отношения их сделались самыми дружескими: не проходило дня, чтобы они не виделись между собой.

Блудов отменно знал французскую литературу. Он с наслаждением читал «Опыты» Монтеня, «Мысли» Паскаля, «Максимы» Ларошфуко, афоризмы Шамфора и других моралистов с берегов Сены; несколько лет спустя он сам испытывает силы в этом жанре. Вот примеры:

«Женщины! хотите ли знать разницу между влюбленным и тем, который любит? Один для вас бросает жизнь свою, другой вам отдает ее.

\*

Слог Батюшкова можно сравнивать с внутренностью жертвы в руках жреца: она еще вся трепещет жизнью и теплится ее жаром.

\*

Иные люди паделали много зла и не могут быть названы злодеями: это имя для них слишком благородно. Они не злодействуют, а только *пакостят* с вредом для ближнего.

\*

О хитрость самолюбия! Мы можем гордиться даже смирением!

\*

К. Д. говорил об NN, который любил хвастаться: он лжет другим, но обманывает лишь себя». <sup>11</sup>

Афоризмы Блудова предназначались для арзамасского журнала. Журнал не состоялся. Опубликованы они были лишь посмертно. Но друзья знали их, конечно, в рукописи.

<sup>11</sup> Е. П. Ковалевский. Граф Блудов и его время. СПб., 1871, стр. 262, 267, 269, 271, 276.

Знали и те афоризмы, которые и до наших дней не попали в печать. Вот некоторые из них:

«Однажды, в припадке чрезмерного добродушия, наш друг Тургенев вздумал хвалить NN за мягкость его характера и даже сердца. „В самом деле, — промолвил Д<ашков>, — его сердце мягко, как грязь“.

\*

Есть на земле и на Руси такие стихи, что их нельзя назвать и дурными, а разве жалкими.

\*

Шумную и почти общую в Европе любовь к предстательному образу правления многие называют заразой. Но справедливо ли? Мне кажется напротив, что перемены в старых конституциях желают по большей части нам лекарства; оно может быть недостаточно, в иных случаях опасно, и есть торгующие им шарлатаны. Но требование лекарства не служит ли доказательством уже существующей болезни? А что причиною этой болезни народов? Судьба ли только, или вместе с нею и некоторые из ее сновитых представителей на земле?

\*

Я думаю, что Греч дурно пишет... С пером в руках он жалобен, скучлив и почти что глуп; но в разговоре у него иногда вырываются остроумные ответы или забавные замечания. Прочтя одно послание Жуковского, в коем наш милый поэт изливает всю душу свою с восторгом пламенной и бескорыстной страсти, он сказал: Мне кажется, что В<асилий> А<ндреевич> не только смертельно, а мертвецки влюблен». <sup>12</sup>

Жуковский много лет был влюблен в свою родственницу Машеньку Протасову; она отвечала ему взаимностью; однако мать ее оказалась более неумолимой, чем княгиня Щербатова. Жуковский потерпел полное поражение. Не оставалось ничего другого, как писать платонические послания. Но выставлять свои чувства напоказ означало идти на риск стать мишенью иронических реп-

<sup>12</sup> ГПБ, ф. 286, оп. 2, № 71.

лик. Так оно и случилось. Острота Греча дошла до арзамасцев. А несколько лет спустя красное словцо Греча, по-видимому, всплыло в памяти Пушкина.

Дни любви посвящены,  
Ночью царствуют стаканы.  
Мы же — то смертельно пьяны,  
То мертвецки влюблены.

«Из письма к А. Н. Вульфу, 1824»

Кто бы мог подумать, что последняя строка ненароком задела Жуковского? Этот неожиданный подтекст открыла нам запись Блудова.

Мадам де Сталь живо интересовалась русской культурой. Умный, образованный собеседник, Блудов мог рассказать о многом, что занимало ее пытливый ум.

В 1825 году Пушкин напишет, что мадам де Сталь «удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы, Европа своего уважения...».<sup>13</sup> Под статьей Пушкина стоит псевдоним «Ст. Ар.», т. е. Старый Арзамасец. Для большинства читателей этот псевдоним ровно ничего не говорил; зато арзамасцы не могли не узнать автора статьи: слишком узок был круг лиц, которые могли бы подписаться подобным образом.

Выбор псевдонима, надо думать, был не случаен. В 1812 году Карамзин виделся и беседовал с мадам де Сталь в Москве, на обеде у генерал-губернатора Ростопчина; тогда же в Петербурге с нею познакомился Батюшков; Блудов и Уваров — ее приятели. Конечно, Пушкин знал французскую писательницу не только по ее сочинениям, но и по рассказам арзамасцев. Много раз и по различным поводам ее имя должно было всплывать в их беседах. Удивительно ли, что в сознании Пушкина имя мадам де Сталь вызывало арзамасские ассоциации...<sup>14</sup>

Летом 1814 года Блудов вернулся в Петербург и продолжал служить по Министерству иностранных дел.

В «Арзамасе» Блудова нарекли Кассандрой; по преданию, Кассандра, дочь Троянского царя Приама, обла-

<sup>13</sup> Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XI, М., Изд. АН СССР, 1949, стр. 29. (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте: римские цифры — тома, арабские — страницы).

<sup>14</sup> О Пушкине и мадам де Сталь см.: В. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., «Сов. писатель», 1960 (по указателю имен); Л. И. Вольперт. Пушкин после восстания декабристов и книга мадам де Сталь о французской революции. — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1968, стр. 114—131.

дала печальным даром предсказывать несчастья. 15 декабря 1815 года Кассандра произнесла шуточную надгробную речь члену «Беседы» и Российской академии, переводчику Ивану Семеновичу Захарову; вскоре, 30 января 1816 года, Захаров и в самом деле умер, что дало повод молодому Пушкину написать об «Арзамасе»: «Где смерть Захарова пророчила Кассандра».

Золотой арфой прозвали в «Арзамасе» Александра Ивановича Тургенева, одного из четырех сыновей Ивана Петровича Тургенева, директора Московского университета, просвещенного деятеля той эпохи, человека, близкого к Н. И. Новикову и московским масонам. В его доме постоянно проводили вечера писатели — Херасков, Карамзин, Дмитриев и многие другие. С отроческих лет Александр Иванович жил в атмосфере литературных споров и бесед о произведениях отечественной и западноевропейской словесности.

Вместе со своим старшим братом Андреем, Жуковским и Воейковым он принимал участие в «Дружеском литературном обществе». Все они зачитывались немецкими и английскими авторами; французы, за исключением Руссо, не были у них в почете; напудренные маркизы, соотечественники Расина и Корнеля, казались им допотопными; на их взгляд, это была литература отцов, дедов и прадедов.

Германия, словно земля обетованная, манила их воображение. В 1802 году Александр Тургенев для продолжения образования (ранее он окончил Московский университетский пансион) поступает в Геттингенский университет. Позднее там учились его младшие братья — Николай, будущий декабрист, и Сергей. Там же проходили курс наук друг его Андрей Кайсаров, автор труда об освобождении крестьян, Куницын, любимый лицейский учитель Пушкина, и Петр Каверин, гусар, приятель поэта. Их, питомцев Геттингена, вспоминал Пушкин, когда писал портрет Ленского:

С душою прямо геттингенской<sup>15</sup>

Он из Германии туманной  
Привез учепости плоды,  
Вольнолюбивые мечты...

<sup>15</sup> В первом издании II главы «Евгения Опегина» эта строка читалась «Душой филистер геттингенский», что было ошибкой, — ведь немецкие студенты называли филистерами обывателей.

В 1805 году Александр Тургенев возвращается в Россию и начинает быстро продвигаться по службе. Свободное время он проводит среди будущих арзамасцев, и естественно, что он становится одним из учредителей «Арзамаса».

Правда, его участие в обществе будет особым. Буффонада арзамасских выступлений ему не далась; Эолова арфа не произносила речей, не отпевала беседчиков. И тем не менее его участие в «Арзамасе» было весьма деятельным. Именно через него осуществлялась постоянная связь между петербургскими и московскими арзамасцами. Александр Иванович имел особый дар писать письма; он вел оживленную переписку с Вяземским; благодаря их «эпистолам», непрерывно шедшим из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург, арзамасцы обеих столиц не были оторваны друг от друга.

Видное служебное положение позволяло Александру Ивановичу быть добрым гением арзамасцев, их опекуном; с его помощью Вяземский получил назначение в Варшаву, а Батюшков — в Неаполь; при его посредстве Жуковскому была назначена ежегодная пенсия в размере четырех тысяч рублей.

«Эолова арфа был президентом; и что же? К приятному удивлению всех братьев он прежде ужина разинул свои всежрущие дотолы немотствующие челюсти. Из них как источник густого млека и душистого меда излилась благодатная речь во образе *Рескрипта*. Все помнят чудесное действие сей речи блистательной и трогательной; и шумный восторг арзамасцев, и смущение издыхающих халдеев, ибо гром слов президента проникнул сквозь шкапы, сквозь стены Арзамаса; он на крыльях Ивикова журавля понесся вдоль Фонтанки и вдоль Невы, раздаваясь в берлогах и гнездах, на рынках и в клубах и в императорской библиотеке; и там и здесь и усыпители, и усыпленные, и простые сонные, все очнулись, все узнали победу Светланы и света над Беседой и тьмою. Сбылось пророчество Кассандры: Эолова арфа совершила свой подвиг и явилась ужаснейшим членом Арза-

А. И. Тургенев сразу же заметил неточность: переписав строфу о Ленском в свою тетрадь, он зачеркнул слово «филистер» и заменил его словом «школьник» (ИРЛИ, ф. 309, № 322). Видимо, он сообщил Пушкину о его промахе; в одном из вариантов этой строки Пушкин писал: «Душою школьник геттингенский».

маса; мы только кусали халдеев, г-жа Арфа их съела; да какое же брюхо и может сравниться с ее утробой? В ней только и могли поместиться все уроды, составляющие кунсткамеру Арзамаса, так же как в сердце его помещаются все красавицы обеих столиц» (187—188).<sup>16</sup>

Так ликовали арзамасцы, когда Александр Иванович прочел им только что подписанный рескрипт о пенсии секретарю Арзамаса Жуковскому.

Нелегкое детство выпало на долю Жуковского. Василий Андреевич был незаконнорожденным сыном богатого помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки; по обычаю тех лет отчество и фамилию будущий поэт получил от своего крестного отца, мелкопоместного дворянина Андрея Жуковского, человека неимущего, жившего на хлебах в доме Буниных. В 1791 году Бунин умер, и его восьмилетний «воспитанник» остался в семье его вдовы, а позднее, после ее смерти, в семье своей сводной сестры Екатерины Афанасьевны Протасовой. Жизнь начиналась с трудных раздумий. «Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любви; следовательно, не мог платить любовью за любовь, не мог быть благодарным по чувству, а был только благодарным по должности», — писал с горечью Жуковский.

Образование он получил в Московском университетском пансионе; по тем временам это было одно из лучших учебных заведений России. Но вскоре Жуковский осознает, что у него недостает фундаментальных знаний, особенно по историческим дисциплинам. Перед его глазами пример братьев Тургеневых, уехавших продолжать учение в Германию. Однако у него нет необходимых средств, чтобы последовать за ними. Наконец, весной 1805 года профессор Московского университета Антон Антонович Прокопович-Антонский, которого в шутку называли трижды помноженный Антон, согласился дать Жуковскому займы бессрочно и без процентов три тысячи рублей. Казалось, заветное желание скоро сбудется.

<sup>16</sup> Здесь и дальше выдержки из протоколов даны по изданию: Арзамас и арзамасские протоколы. Вводная статья, редакция протоколов и примечания к ним М. С. Боровковой-Майковой, предисловие Д. Благого. Изд. писателей в Ленинграде, 1933. — Выдержки сверены и уточнены по рукописи (ИРЛИ). В дальнейшем страницы данного издания приводятся в тексте.

«Я еду в будущем мае вояжировать: год пробуду для учения в Геттингене; год, для учения же, в Париже и год или полтора буду ездить по Европе», — писал Жуковский Блудову.<sup>17</sup>

Жуковскому не удалось осуществить свое намерение: началась война с Францией, и поездку пришлось отложить на неопределенное время.

Поэтическая звезда Жуковского всходила медленно, но верно. Он пробовал свое дарование в разных жанрах — в оде, элегии, песне, эпиграмме, басне, послании. Лишь к концу 1800-х годов он находит свое призвание: в 1808 году пишет балладу «Людмила», а затем баллады «Кассандра», «Светлана», «Пустынник», «Адельстан», «Ивиковы журавли», «Варвик», «Ахилл», «Эолова арфа», «Громобой»... Названия этих баллад станут прозвищами арзамасцев, а Жуковский прослышет дядькой всех чертей и ведьм в русской литературе. В черновике арзамасской речи Воейкова (ее окончательный текст не сохранился) сделано 63 выписки из стихотворений Жуковского, в которых мелькают покойники и могилы.<sup>18</sup>

Итак, черти, ведьмы, кладбища, могилы, привидения, фантасмагория земного и потустороннего — вот что влечет Жуковского.

Публика была в восторге от баллад его; друзья тоже восторгались, а порой подшучивали над его «замогильными» пристрастиями.

Вот Жуковский, в саван длинный  
Скутан, лапочки крестом,  
Ноги вытянув умильно,  
Черта дразнит языком,  
Видеть ведьму воображает  
И глазком ей подмигнет,  
И кадит, и отпевает,  
И трезвонит, и ревет.

(А. Ф. Воейков.  
«Дом сумасшедших»)

Отечественная война 1812 года воспламенила патриотические чувства Жуковского. Он вступил в народное ополчение; в день славной Бородинской битвы он, как и все ополченцы, находился в резерве, за линией огня. Вскоре в Тарутине, в штабе главнокомандующего Куту-

зова, он пишет гимн «Певец во стане русских воинов»; отныне его слава первого поэта России затмила славу Державина.

Победоносное окончание Отечественной войны, освобождение Европы от наполеоновского ига, капитуляция Парижа, возвращение победителей на родину, — все эти события глубоко взволновали Жуковского; он пишет послание «Императору Александру», слава

... дивный век, когда певец царя — не льстед,  
Когда хвала — восторг, глас музы — глас народа...

И вот послание отослано в Петербург — пусть друзья скажут свое веское слово.

Александр Тургенев созвал «ареопаг» — Батюшкова, Крылова, Гнедича, Блудова, — достал рукопись из зеленого сафьянового бювара и приступил к чтению. Перед слушателями раскрылись последние страницы мировой истории.

И Рейн восплескал, послышав ликованья...  
О старец вод! о ты, с минуты мирозданья  
Не зревший на берегу еще лица славян, —  
Лякуй и отражай в волнах славянский стан!  
И погрузился крест при громах в древни воды;  
И Рейн, обновлен, потек в брегах свободы,  
И заиграл на них веселья звонкий рог;  
И быстро ворвались полки в тот страшный лог,  
Где, кроясь, хищник дарств ковал им цепи плена.  
Вотще, вотще воздвиг он черные знамена —  
Лишь весть погибели он с ними водрузил;  
Гром русский берега Секваны<sup>19</sup> огласил...

Чем дальше читал Александр Иванович, тем сильнее воодушевлялся созванный им «ареопаг». Наконец чтение закончилось. Жуковский одержал блистательную победу.

«Чем более читаю я твое послание, тем более красота открываю, — писал Александр Иванович Жуковскому 22 декабря 1814 года, — особенно во второй половине его. То же заметил за собою и строгий Батюшков. Блудов прочит, что ты будешь певцом века освобождения и принадлежать славе Александра, как Вергилий принадлежит Августу, Державин Екатерине».<sup>20</sup>

Оленин стал готовить вишнетку: послание должно было появиться в печати в достойном наряде.

<sup>17</sup> «Радуга», Пг., 1922, стр. 18.

<sup>18</sup> ИРЛИ, ф. 31, № 14.

<sup>19</sup> Секвана — древнеримское название реки Сены.

<sup>20</sup> ИРЛИ, ф. 309, № 4713.

Батюшков не удержался и сам писал Жуковскому:

«Тургенев, искр<рен>ный твой друг и ревнитель твоей славы, прочитал мне твое послание и поручил сделать несколько замечаний. Время не позволяло разобрать подробно. Я заметил слабые места, которыми и ты конечно будешь недоволен. Я исполнил свой долг; теперь заклинаю тебя твоей собственной славой не лениться исправить их, и не иначе приступая к печати. Блудов и Гнедич заметили еще несколько строк, требуй от Тургенева замечаний, исправь и печатай.

Если б я мог завидовать тебе, то вот прелестный случай! Так, мой милый, добрый мечтатель! Счастливы мы, что имеем такое дарование в наше время; а мы, твои приятели, еще счастливее: это дарование наше, ты наш — ты любишь нас! Твое новое произведение прелестно. В нем все благородно, и мысли и чувства. Оно исполнено жизни и поэзии; одним словом: ты наравне с предметом, и с каким предметом! Невозможно читать хладнокровно таких стихов! И откуда ты почерпнул столько прекрасных, новых и живописных выражений? Счастливец! Чародей! Прими же чувство моей благодарности за несколько сладостных минут в жизни моей: читать твои стихи — значит наслаждаться — а в последних ты превзошел себя. Теперь победи себя, лень, гнусную лень, и раз в жизни сделай доброе дело: отвечай на прежнее мое письмо, и скажи, что ты učinил с сочинениями Муравьева?

Батюшков».<sup>21</sup>

Истинный талант чужд зависти; она в силах поработить лишь бездарность или посредственность.

«Если б я мог завидовать тебе, то вот прелестный случай», — в этом признании перед нами весь Батюшков, отзывчивый, благородный, счастливый удачею друга.

А девять месяцев спустя радуется удаче другого поэта сам Жуковский: «Я сделал еще приятное знакомство! — писал он Вяземскому. — С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творенье. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. <...> Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук

в руки — прекрасное! Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный!».<sup>22</sup>

Как удивительно гармонируют эти два письма между собой! И в письме Батюшкова, и в письме Жуковского господствует стихия бескорыстия, душевной заинтересованности чужим талантом.

Батюшков назвал Жуковского чародеем; он в самом деле был добрым волшебником — и в поэзии, и в жизни. Талантливый поэт, талантливый друг, — таков в двух словах образ Жуковского, образ арзамасской Светланы.

Жуковский имел необыкновенный дар присваивать клички своим друзьям. Дашкова, одного из учредителей «Арзамаса», он прозвал Дашенькою; это было ни с чем не сообразно: ни в лице, ни в характере Дашкова не проглядывало ничего женственного; полное несоответствие между мужественным, высокого роста Дашковым и Дашенькою невольно вызывало улыбку.

Дмитрий Васильевич Дашков принадлежал к древнему дворянскому роду, небогатому и незнатному. В 1801 году Дашков окончил с отличием Московский университетский пансион: имя его занесли на мраморную доску золотыми буквами. Девять лет прослужил он в Московском архиве Коллегии иностранных дел; по назначению Ивана Ивановича Дмитриева министром юстиции поступил под его начальство; с середины 1810-х годов перешел на службу в Министерство иностранных дел. Так между юриспруденцией и дипломатией прошла его жизнь; на обоих поприщах проявил он незаурядные способности. Досуг свой посвящал он литературе.

Его перу принадлежат остроумные, язвительные, логически неотразимые опровержения филологических изысканий Шипкова. Одно из них особо полюбилось Пушкину — это брошюра 1811 года «О легчайшем способе возражать на критики», о которой поэт собирался четверть века спустя написать статью для «Современника».

В марте 1812 года Дашков выступил на заседании Общества любителей словесности, наук и художеств с «приветствием» графу Д. И. Хвостову; под личиной панегирика Дашков с непроницаемой серьезностью иронизировал над незадачливым литератором. И недаром на одном из списков его выступления чьей-то рукой надпи-

<sup>21</sup> ИРЛИ, ф. 309, № 4713. — На обороте письмо А. И. Тургенева к Жуковскому от 29 декабря 1814 года.

<sup>22</sup> Литературное наследство. Т. 58. М., 1942, стр. 33.

сано «арзамасская речь»; почти за четыре года до официального открытия «Арзамаса» Дашков произнес речь, которая предвосхищала словесные арабски арзамасских выступлений. Да и сам граф Хвостов станет излюбленной мишенью шуток арзамасцев.

Подчеркнутая серьезность почти всегда отличала Дашкова. На службе и в большом свете он был холоден, угрюм, малодоступен, сановит, редко кому улыбался; тем ценнее была улыбка его в приятельском кругу.

От природы Дашков был вспыльчив и нетерпелив; но та же природа наградила его волей и силой рассудка, которые помогали ему укрощать свой темперамент. «Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался он победителем, проявлялась и в речах его, затрудняла его выговор: он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил плавно, чисто, безостановочно; та же чистота была в душе его, в слоге и даже в почерке пера».<sup>23</sup>

Человек дарований отменных, образованности обширной, честности редкой, Дашков был уважаем и друзьями, и врагами; Пушкин, узнав его ближе, называл «бронзой», — это было признанием его стойкости, наградой, которая побуждает нас с особым уважением вспоминать Дашеньку; впрочем, так его именовал только Жуковский; в «Арзамасе» же он имел прозвище Чу.

Шестым учредителем «Арзамаса» был Жихарев; он будет представлен читателям позднее.

Итак, 14 октября 1815 года. В кабинете Уварова уютно расположились шесть человек: Жуковский, Блудов, Дашков, Александр Тургенев, Жихарев и сам Уваров.

«Шесть присутствовавших братий торжественно отреклись от имен своих, дабы означить тем преобразование свое из ветхих арзамасцев, оскверненных сообществом с халдеями Беседы и Академии, в новых, очистившихся чрез потоп Липецкий. И все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность: 1-е, потерпеть всякое страдание за честь Арзамаса, и 2-е, быть пугалами для всех противников его по образу и по подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах» (82).

Как мы помним, именно пьеса Шаховского «Липецкие воды» побудила Жуковского и его друзей создать литературное общество. В шуточной форме они отрекались от постыдного общения с членами Беседы и Академии; символически это выражалось в арзамасском крещении, в присвоении им прозвищ, взятых из баллад Жуковского.

На столе лежала красная шапка, в которую на заседаниях облачался председатель собрания; красный колпак, головной убор якобинцев, символизировал воинственный дух арзамасцев.

По старь мой колпак изношен,  
Хоть и любил его поэт;  
Он поневоле мной заброшен:  
Не в моде нынче красный цвет,

— напишет Пушкин тринадцать лет спустя. В этих строках двойной намек — и на якобинцев, и на арзамасцев.

Принятый обществом ритуал остроумно пародировал установления Беседы. Там, в торжественной зале дома Державина, все чинно и церемонно. Здесь все наизусть; а посему «положено признавать Арзамасом всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо, и сие место, какое бы оно ни было — чертог, хижина, колесница, салазки — должно именоваться во все продолжение заседания *Новым Арзамасом*» (83).

Салазки были вписаны для красного словца; а колесница, т. е. карета, и на самом деле послужит местом одного из заседаний «Арзамаса».

«По примеру всех других обществ каждому нововступающему члену *Нового Арзамаса* надлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику. Но все члены *Нового Арзамаса* бессмертны. Итак, за неимением собственных готовых покойников, *ново-арзамасцы* (в доказательство благородного своего беспристрастия и еще более в доказательство, что ненависть их не простирается за пределы гроба) положили брать напрокат покойников между халдеями Беседы и Академии, дабы им воздавать по делам их, не дожидаясь потомства. Вследствие сего постановления каждый нововходящий читает панегирик одному из халдеев; а очередной председатель отвечает ему, хваля того же покойника и примешивая искусно к сим похвалам лестные приветствия новому своему другу» (84).

<sup>23</sup> Вигель, т. 2, стр. 42.

Пародическая перелицовка старинного академического обычая — что могло быть удачнее, что могло более воодушевить арзамасцев? Галопом поскакало воображение, прищипренное остроумием.

«Надгробное слово  
именитому сотруднику Беседы русского слова  
С. П. Жихареву

*Ныне, отложивше ветхого человека, в нового облецемся.*

Наконец именитый сотрудник Беседы русского слова, по многотрудном странствовании в безвестной юдоли Литературных обществ — успе! <sup>24</sup> Наконец, скинув бранный покров свой: ослиные уши и дурацкую шапку, известные принадлежности (attributs) беседчика, облекается в нетленный красный колпак арзамасский» (100).

Так «отпевал» самого себя литературный переметчик Степан Петрович Жихарев, шестой учредитель «Арзамаса».

Воспитанник Московского университета, он приехал в столицу осенью 1806 года и поступил переводчиком в Коллегию иностранных дел. Его попытки сделаться драматургом и поэтом оказались тщетны; дарования его лежали в другой области: в историю культуры он вошел как автор талантливых воспоминаний — «Дневника студента» (1805—1806) и «Дневника чиновника» (1806—1807); в них живо и непринужденно рассказано о писателях и артистах той поры. С ними Жихарев постоянно встречался. Он был своим человеком в кругу Шишкова и Державина; в 1807—1810 годах он участвует в литературных встречах будущих беседчиков. Но заядлым шипковистом он никогда не являлся; в его дневниках то и дело мелькают уважительные отзывы о Карамзине, Дмитриеве, Жуковском, Озерове...

Жихарев закончил свое «отпевание», и в ответ ему потекла речь Светланы:

«Приятно для странника, скитавшегося посреди песчаной Ливийской степи, журчание источника, возвещающего благодать прохладной сени; приятен голос человеческий для пешехода, заблудившегося ночью посреди болот и не знающего, близко ли, далеко ли жилище гостеприимное; весело извозчику, застигнутому зимнею вьюгою, услышать лайные собаки или крик петуха, прилетающие

<sup>24</sup> Успе — умер.

в слух его из ближнего селения; отрадно в дождливую осеннюю ночь егерю, до костей промокшему, увидеть приветственное сияние огней обительных — но стократ приятнее, утешительнее, веселее, отраднее услышать звуки возлюбленного Арзамаса из той гортани, из которой доньне исходило одно хрипение Беседы; стократ утешительнее видеть красный колпак возрождения, сияющий на той главе, которая доньне была посрамлена маковым венком Беседной пакости; стократ отраднее видеть блистание арзамасской утехы в тех взорах, которые доньне были отуманены сонливостью сотрудничества! <...>

И не стало его для Беседы! Уснул в пакости! Пробудился в велелепии.

Друзья! Помните ли предание древнего времени о Фениксе бессмертном? В нашем брате возобновилось чудо перерождения сей баснословной птицы! В едином токе не сходствует он с нею — Феникс умирал Фениксом и воскресал Фениксом! Брат наш умер сердитою совою Беседы и воскрес горделивым гусем Арзамаса!» (97—100).

И прозвали гуся сего, очистившегося от скверны «Беседы», Громобоем.

Город Арзамас издавна славился гусями; вот и стал гусь символом «Арзамаса»; его изобразили на печати общества; его же обычно подавали на ужин в конце заседания.

«Месяца Листопада в первый надесятый день, по обыкновенному летосчислению 1815 года, от Липецкого потопа в лето первое, от Видения в месяц второй, в доме его превосходительства члена Старушки <sup>25</sup> был третий ординарный Новый Арзамас» (101).

Подобным шутливым зачином, пародировавшим стиль протоколов официальных пестрят протоколы «Арзамаса».

«Уже громозвучный Чу <sup>26</sup> сидел на президентском месте; Беседа покоилась в карманном гробе, взятом живообразно из-под домашней чернильницы; прочие члены сидели в немом ожидании. Меня ввели, и все лица просияли. Как важный гусь подступал я к месту президентскому: красная шапка надо мною растопорчилась; и голосом приятным, которого звуки сладостно ковыряли сердца друзей моих, произнес я роковую клятву — произнес, потом сел или паче вдвинул в гостеприимные объа-

<sup>25</sup> «Старушка» — арзамасское прозвище С. С. Уварова.

<sup>26</sup> «Чу» — арзамасское прозвище Д. В. Дашкова.

тия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев беседных.

Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника, одного графа, одного скотолоба, Дмитрия, но не Донского, а Кубрского, сего лирического затейника, сего вольного каменщика бессмыслицы, привилегированного фабриканта галиматъи и заслуженного парикмахера фурий» (102).

Жуковский отпевал графа Дмитрия Ивановича Хвостова, певца Кубры (реки, у которой находилось его имение), скотолоба, ибо к своим «Притчам» он избрал эпиграф: «Все звери говорят, а сам молчит поэт». Сам Хвостов являлся притчей во языцех на заседаниях «Арзамаса», а его притчи — постоянной мишенью пародий.

Сей совместник Дмитриева, Хемницера и Крылова был примечательным феноменом того времени.

«Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его вероятно не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю; знаю только по слышке, что в первой и последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присваивался ко всем знатым невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, приплась по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов — победами. Этот союз вдруг подпаял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осьмнадцатилетним знатым юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. „Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал“».<sup>27</sup>

Хвостов был пожалован в камер-юнкеры в 1795 году; ему тогда было 38 лет.

Пушкин был пожалован в камер-юнкеры в 1833 году; ему тогда было 34 года.

Хвостов добивался камер-юнкерства; Пушкин был взбешен оказанной ему «честью».

При Екатерине II звание камер-юнкера давало его обладателю чин пятого класса, т. е. статского советника.

После реформ Сперанского камер-юнкерство не означало повышения в чине; оно стало пустым придворным званием.

Хвостов был в выигрыше, Пушкин — в накладе; талант и удача оказались в обратной пропорции.

В кунсткамере «Арзамаса» Хвостов был курьезнейшим экспонатом; не счесть числа эпиграмм, написанных на него; коллективная арзамасская надпись к портрету Хвостова гласит:

Се — росска Флакка зрак! Се тот, кто, как и он.  
Выспрь быстро, как птиц царь, нес звук на Геликон!  
Се — лик од, притч творца, муз читателя Хвостова,  
Кой поле испестрил российска красна слова!<sup>28</sup>

Вот этого-то знатного покойника и «отпевал» Жуковский на третьем заседании «Арзамаса».

На последующих заседаниях членами общества были избраны П. И. Полетика, Д. П. Северин и А. Ф. Воейков.

«1-й. Его превосходительство: *Очарованный Челнок*. С флагом Арзамаса проплыл он по земле и воде все климаты Европы и Америки; на скалах Ниагары, по милости его, эхо научилось повторять имя Арзамаса; он познакомил с тайнами арзамасскими испанскую инквизицию; провозгласил Арзамас под аркадами Пале-Рояля; и в древнем Альбионе, видя сражение смелых петухов, с согласия рукоплескающих зрителей, поднес петуху-победителю благодарное титло *арзамасского гуся*». (118).

Петр Иванович Полетика родился в 1778 году; он был сыном обрусевшего польского шляхтича, бедного дворянина, врача по профессии, и пленной турчанки. Воспитанник Сухопутного шляхетского корпуса, Полетика предпочел штатскую службу; с 1798 года он переводчик Коллегии иностранных дел, а четыре года спустя начинается его Одиссея по русским посольствам: Стокгольм, Неаполь, Корфу, Филадельфия, Рио де Жанейро, Мадрид — таков

<sup>27</sup> Вигель, т. 1, стр. 351.

<sup>28</sup> Флакк — Квинт Гораций Флакк, древнеримский поэт.

его путь с 1802 по 1814 год. По причине многих странствий ему и присвоили кличку Очарованный челнок.

Несколько старообразный, с тонкими чертами лица, обличавшими его восточное происхождение, изысканно одетый, прямодушный, он так искусно, шутливо и не обидно умел говорить истину сильным мира сего, что их самих заставлял улыбаться. Он был человеком умным и при случае мог одной фразой завершить долгие прения. Как-то при нем спорили о делах государственных. Полетика с невозмутимым видом слушал доводы за и против и наконец тихо сказал: «В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». Все замолкли, и спор был исчерпан.

Он говорил мало, но веско; умел сказать к месту жизненный афоризм, вспомнить исторический анекдот; словом, он был мастером устной миниатюры, излюбленного жанра Пушкина; в дневнике 1830-х годов Пушкин запишет со слов Очарованного челнока колоритные анекдоты времен Екатерины II и Павла I.

«2-й. Его превосходительство *Резвый Кот*. Долго скитался он в краях отдаленных и принужден был сообщаться с друзьями своими одним письменным мурлыканьем, которое часто пропадало на почте. Наконец мурлычит он непосредственно в слух милых своих собеседников; с расстроганым сердцем говорят они ему: *кись, кись*; смело садится он на уготовленное ему место; и может быть твердо уверен, что верные друзья *никогда* ему *брысь* не скажут, ибо они знают, что он *хоть и кот*, но *совсем не блудлив как кот и не труслив как заяц*» (118).

Яркий портрет этого пришлого арзамасца дан в «Записках» Вигеля: «...худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. <...> Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопство, обремененное в столь щеголеватые и благородные формы».<sup>29</sup>

Дмитрий Петрович Северин, автор двух басен и переводчик нескольких французских статей, служил по дипломатической части; особыми способностями не отличался, если не считать тех, которые подметил Вигель.

<sup>29</sup> Вигель, т. 2, стр. 98.

Позднее на Юге сей *Резвый Кот* высокомерно и грубо обошелся с Пушкиным: отказался принять пришедшего к нему в гости ссыльного поэта. Пушкин рассчитался с ним эпиграммой.

Ваш дед портной, ваш дядя повар,  
А вы, вы модный господин, —  
Таков об вас народный говор,  
И дива нет — не вы один.  
Потомку предков благородных,  
Увы, никто в моей родне  
Не шьет мне даром фраков модных  
И не варит обеда мне.

*Резвый Кот* получил по заслугам. Это произошло в Одессе в 1823 году, а семь лет спустя в «Моей родословной» Пушкин напишет:

Не торговал мой дед блинами,  
Не ваксил царских сапогов,  
Не цел с придворными дьячками,  
В князья не прыгал из хохлов,  
И не был беглым он солдатом  
Австрийских пудренных дружин;  
Так мне ли быть аристократом?  
Я, слава богу, мечанин.

В одной строфе целое сонмище выскочек, тех самых, на которых намекал ранее Пушкин в эпитагме на Северина.

«Его превосходительство *Резвый Кот*, как нововступающий член, был представлен господину президенту и произнес перед ним с надлежащею благопристойностью клятвенное обещание; потом промурлыкал он погребальную приветственную панихиду, по несчастию весьма краткую...» (133).

Клятву — или, точнее, торжественное обещание — произносил при вступлении в общество каждый арзамасец:

«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь и торжественно обещаю быть всегда усерднейшим и ревностнейшим членом Арзамасского Общества Безвестных людей. <...> Обязуюсь и торжественно обещаю повиноваться слепо всем постановлениям Общества. <...> Если же нарушу сие добровольное торжественное обещание, да буду проклят от всех благомыслящих арзамасцев; да буду извергнут из среды их, как *Дед Седой*<sup>30</sup> от рождения извергнут из

<sup>30</sup> Шишков.

числа хороших писателей; да буду всеобщим поношением и посмешищем подобно комику Шуговскому. «...» Злато и серебро мое да истощится на издание творений моих; а сии да пребудут неистощимы и неприкосновенны в родимой лавке Глазунова. Одр мой да будет виталищем всех бесов и привидений балладных; да бегут от очей моих сон и успокоение, как бегут слушатели от чтения стихов Хлыстова и Барабанова.<sup>31</sup> Гнев господень да поразит меня вечною проказою и юродством славенофилов; да постигнет меня горькая смерть предателей. Память моя да исчезнет с лица земли без шума; да будет забвенна на веки и с моими писаниями; и да не будет им воскресения. Аминь!» (77—78).

Шуточная клятва арзамасцев напоминает обрядность франк-масонов, «вольных каменщиков»; в XVIII и в начале XIX века масонские ложи, главной целью которых являлось нравственное совершенствование их членов, широко распространились в Западной Европе и в России. При Екатерине II масоны подверглись правительственному гонению, а в 1822 году Александр I издал указ об их запрещении.

Людям XX века ритуал масонов кажется театрализованным представлением. Помещение ложи драпировали черным сукном; на помост, покрытый черным покрывалом, ставили черный гроб с ветвью акации и мертвой головой. Новичок становился правым обнаженным коленом на скамью, ему растегивали жилет и к обнаженной левой стороне груди приставляли острое циркуль; положив правую руку на евангелие, неопит произносил присягу, клялся ни под каким видом не выдавать тайных мистерий свободного каменничества; а если клятва будет нарушена — «пусть мне будет перерезана шея, язык вырван с корнем и зарыт в морском песке при низкой воде, там, где прилив и отлив проходят дважды в двадцать четыре часа».

Клятва арзамасцев пародировала клятву масонов.

«По случаю болезни его превосходительства очередного оратора Громобоя ординарный Арзамас был отложен, а был месяца Студеня в девятый день экстраординарный Арзамас, в коем между прочими приятностями был избран

<sup>31</sup> Хлыстов — Хвостов; Барабанов — член «Беседы» П. И. Карабанов.

в арзамасцы его превосходительство Дымная печурка...» (118).

Так стали звать Александра Федоровича Воейкова, человека разнообразных дарований, о котором Фаддей Булгарин, сам журналист, не брезгавший никакими средствами, писал:

Лишь только занялась заря  
И солнце стало над горой,  
Воейков едет на разбой:  
Сарынь на кичку кинь!

А Пушкин даже изобрел неологизм: воейковствовать, то бишь быть головорезом в литературном ремесле.

Воейков родился в 1779 году; он учился в Московском университетском пансионе; в его ветхом доме на Девичьем поле собирались участники Дружеского литературного общества. Приятельские связи его с Жуковским открыли перед Воейковым двери «Арзамаса»; впрочем, двери открылись со скрипом: арзамасцы подозрительно взирали на его аляповатую фигуру. Сей «вольнопрактикующий литератор» не принадлежал в то время ни к одной из литературных партий; только нежелание обидеть Жуковского побудило арзамасцев ввести его в свой круг.

Самым удачным предприятием Воейкова была женитьба летом 1814 года на Александре Андреевне Протасовой, воспетой Жуковским под именем Светланы; задним числом Жуковский укорял себя за то, что помог Воейкову жениться; слишком поздно распознал Василий Андреевич его истинный характер.

Выгоды, которые извлек Воейков из этого брака, были немалые: он породнился с Жуковским и Карамзиным (Александра Андреевна приходилась племянницей первой жене историографа), и они вынуждены были оказывать ему всяческую помощь и глядеть сквозь пальцы на его неблагоприятные поступки.

Поэт, переводчик, критик и журналист, Воейков с наибольшим блеском проявил себя в стихотворном памфлете «Дом сумасшедших»; ему пришла счастливая мысль посадить всех литераторов, собравших по перу, в камеры желтого дома; каждому писателю отведены одна-две строфы.

«Ты ль Хвостов? — к нему вошедши,  
Вскликнул я. — Тебе ль здесь быть?  
Ты дурак — не сумасшедший,  
Не с чего тебе сходить».

— «В Буало я смысл добавил,  
Лафонтена я убил,  
Я Расина обесславил», —  
Быстро он проговорил.

И читать мне начал оду,  
Я искусно улизнул  
От мучителя, но в воду  
Прямо из огня нырнул:  
Здесь старик с лицом печальным  
Букв славянских красоту  
Мажет золотом сусальным  
Пресловутую *фиту*.

И на мебели повсюду  
Коронованное *кси*,  
Староверских книжиц груды  
И в окладе *ик* и *пси*,  
Том в сафьян переплетенный  
Тредьяковского стихов  
Я увидел, изумленный,  
И узнал, что то *Шишков*.

Не пощадил Воейков и самого себя: именно заключительные строфы «Дома сумасшедших», в которых сам автор изображен жильцом желтого дома, придают композиционную завершенность этой остроумной пародии.<sup>32</sup>

От досады и от смеху  
Утомлен, я вон спешил,  
Горькую прервав утеху,  
Но Смотритель доложил:  
«Ради вы или не ради,  
Но указ уж получен:  
Вам нельзя отсель ни пяди».  
И указ тотчас прочтен:

«Тот Воейков, что Делиля  
Столь безбожно исказил,  
Истерзать хотел „Эмиля“  
И Виргилию гровил,  
Должен быть как сумасбродный  
В цепь посажен в желтый дом;  
Темя все обречь сегодня  
И тереть почаще льдом».

Прочитав, я ужаснулся,  
Хлад по жилам пробежал,  
И, проснувшись, не очнулся —  
И не верил сам, что спал.

<sup>32</sup> Об этом см.: Ю. М. Лотман. Сатира Воейкова «Дом сумасшедших». — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1973, вып. 306, стр. 3—45.

Други, вашего совету,  
Без него я не решусь:  
Не писать — не жить поэту.  
А писать начать — боюсь.

Сохранился уникальный рисунок: Воейков в камере сумасшедшего дома сидит за столом и пишет свой памфлет. Тяжелый провозительный взгляд, брезгливо сжатые губы; во всем его облике чувствуется бесконечное презрение к людям, «пигмеям и недоноскам». Только самого себя считает он за человека; сетует на то, что опоздал родиться на несколько столетий. Какой толк разбойничать пером! Не тот размах, не те возможности. Жить бы ему во времена открытия Америки, быть бы ему конквистадором, авантюристом с мировым именем. Именно так изобразил его неизвестный художник в 1831 году.

Законченный облик Воейкова, беспринципного литературного дельца, готового прибегнуть к любым средствам для достижения своей выгоды, сложился в 1820—1830-е годы. Во времена «Арзамаса» он еще профессорствовал в Дерпте, переводил поэмы Виргилия и Делиля, писал оригинальные сатирические произведения — «Дом сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь».

«Вчера был славный Арзамас и Воейков календарь читал. Михайла Орлов принят Рейном», — писал Александр Тургенев Жуковскому.<sup>33</sup>

Михаила Орлова принимали в «Арзамас» 22 апреля 1817 года. Между тем в протоколе заседания не сказано ни слова о чтении Воейковым «Парнасского адрес-календаря»; нет и подписи его под протоколом. Однако эти расхождения не должны нас смущать: делопроизводство в «Арзамасе» страдало изъянами, и подобные пропуски не единичны.

В те годы адрес-календарь являлся такой же настольной книгой, как ныне список абонентов телефонной сети. В адрес-календаре давалась роспись чиновников, их званий и кавалерами каких орденов они являлись. В подражание такому справочнику и составил Воейков «Парнасский адрес-календарь, или роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона, с краткими замечаниями об их жизни и заслугах, собрано из достоверных источников для употребления в Благоприятском Арзамасском обществе».

<sup>33</sup> ИРЛИ, ф. 309, № 4765.

Воейков постарался на славу, хваля арзамасцев и понося беседчиков; вот несколько выдержек из его адрес-календаря:

«К. Н. Батюшков, действительный поэт, стольник муз, оберкамергер граций;

Князь П. А. Вяземский, министр полиции, главноуправляющий смирительными заведениями для завистников, вралей и бездельников;

Д. Н. Блудов, государственный секретарь бога Вкуса при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих последних печатью отвержения;

Д. В. Давыдов, действительный поэт, генерал-адъютант Аполлона при переписке Вакха с Венерою;

Кн. Шаховской, придворный дистилатор; составляет самый лучший опиум для придворного и общественного театра. Имеет привилегию писать без вкуса и толку;

Кн. Шихматов, беседист; член противной стороны здравому рассудку, пишет неведомо что, неведомо для кого; сочинитель песен, которых никто не поет, и книг, которых никто не читает;

Гр. Д. И. Хвостов, обер-дубина Феба в ранге провинциального секретаря; обучает иппокренских лягушек квакать и барахтаться в грязи;

А. С. Шишков, патриарх старообрядцев, главный директор раскольничьего книгохранилища; на шее носит пишп на пестрой тесьме, а в петлице — раскольничью бороду на голубой ленте; перелагает в стихи Стоглав и Кормчую книгу».

Воейкову не откажешь в остроумии, а остроумие высоко ценили в «Арзамасе».

Но остроумные выпады против беседчиков не удовлетворяли, тем не менее, всех чайний арзамасцев. Уже на третьем заседании общества постановили: «Определить занятия Арзамаса, дабы, по отпении известного числа покойников, не сидеть самим во время собрания покойниками, а заниматься различными приятностями, читая друг другу стишки, царапать друг друга критическими колкостями и прочее» (103).

Неделю спустя, на четвертом заседании общества, арзамасцы вновь вернулись к этому вопросу:

«Было рассуждаемо о том, какое бы иметь постоянное занятие Новому Арзамасу. Его превосходительство Кассандра предложил было заниматься критическим разбо-

ром лучших вновь выходящих книг русских и иностранных — но кажется, что сие предложение не разлакомило членов и не произвело в умах их никакой нравственной похоти. Положено предварительно, чтобы члены предлагали на рассмотрение Арзамаса всякое литературное произведение своей пошвы: Арзамасу же обрабатывать сию пошву, взрывая ее критическим плугом, составляя питательные снопы из того, что произрастет на ней доброго, недоброе же бросать свиньям и хрюкам беседным, да попрут его стопою или да всковыряют его рылом» (111).

Итак, 18 ноября 1815 года на четвертом заседании «Арзамаса» безраздельному господству буффонады пришел конец.

За скуными строками протокола — спор о целях общества. Обычно брожение в «Арзамасе» приурочивают ко времени вступления в него будущих декабристов — Николая Тургенева, Михаила Орлова, Никиты Муравьева; пишут о том, что эти арзамасцы (они вошли в общество лишь в 1817 году) вместе с Вяземским и молодым Пушкиным составили радикальное крыло «Арзамаса», а Жуковский, Блудов, Уваров, Дашков возглавили умеренное крыло. Это истина, но не вся истина. Борьба мнений прорезывается уже на первых заседаниях «Арзамаса». Правда, эти столкновения иные, нежели позднейшие; у колыбели «Арзамаса» спорят лица, близкие между собою по общественным воззрениям, но по-разному смотрящие на цель общества.

«Буффонада явилась причиной рождения „Арзамаса“, — утверждал позднее Жуковский, — и с этого момента буффонство определило его характер. Мы объединились, чтобы хохотать во все горло, как сумасшедшие; и я, избранный секретарем общества, сделал не малый вклад, чтобы достигнуть этой главной цели, т. е. смеха; я заполнял протоколы галиматией, к которой внезапно обнаружил колоссальное влечение. До тех пор пока мы оставались только *буффонами*, наше общество оставалось деятельным и полным жизни; как только было принято решение стать *серьезными*, оно умерло внезапной смертью. <...> „Арзамас“ не оставил ни малейшего следа в трудах по той простой причине, что никаких трудов не было».<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Е. Петухов. Письма В. А. Жуковского к фон-Мюллеру. — В кн.: Новый сборник по славяноведению. СПб., 1905, стр. 343 (письмо от 12 мая 1846 года; подлинник по-французски).

Жуковский запечатлел: склонность к буффонаде была ему присуща издавна; еще в начале XIX века он обменивался шутливыми стихотворениями с Анной Михайловной Соковниной; в 1811 году он вдохновенно развлекался, сочиняя вместе с Александром Алексеевичем Плещеевым, будущим арзамасцем Черным враном, музыкантом, поэтом, автором комедий и оперетт, драматические шутки с затейливыми названиями, как например: «Елена Ивановна Протасова или дружба, нетерпение и калуста. Греческая баллада, перемноженная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командиром Галиматъи. Второе издание. С критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрывсова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного гальваниста собачьей комедии, издателя типографического описания париков и нежного композитора различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания».

Отсюда прямой путь к арзамасскому буффонству. Любимое выражение Жуковского гласило: «Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматъе».

Как мы видели, в письме к фон-Мюллеру он категорически утверждал, что исключительно буффонада определяла собой характер «Арзамаса». Но не менее категорично мнение Уварова, полностью противоречащее свидетельству Жуковского.

«Арзамас не имел собственно никакой определенной формы. Это было общество молодых людей (часть которых достигла впоследствии высших степеней государственной службы), связанных между собой одним живым чувством любви к родному языку, литературе, истории и собиравшихся вокруг Карамзина, которого они признавали путеводителем и вождем своим. Направление этого общества или, лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно *критическое*. Лица, составлявшие его, занимались строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, само-

стоятельной теории языка и проч. Чем разнообразнее была цель общества, тем менее было последовательности в его занятиях. В то время под влиянием „Арзамаса“ писались стихи Жуковского, Батюшкова, Пушкина; и это влияние отразилось, может быть, и на иных страницах Истории Карамзина».<sup>35</sup>

Уваров подчеркивает положительное влияние «Арзамаса» на творческую деятельность его членов и те позитивные элементы, которые возникали и шлифовались во время взаимного их общения. Попробуем с этой точки зрения проанализировать арзамасские протоколы и сведения о встречах арзамасцев.

На четвертом заседании «Арзамаса» Дашков прочел: «Повесть о том, как некоторая собака, по имени Баркуф, царствовала в некотором государстве с великою мудростию и как все подданные были ею довольны. Сочинитель сам изволил читать сию повесть, и члены, слушая его, говорили друг другу на ухо: *он съел собаку*;

Перевод некоторых затейливых *Парамифий*, сочиненных одним германским арзамасцем. Члены выслушали два или три отрывка сего богоугодного перевода; почти все в нем принято было с одобрением, кроме одной почтенной Немезиды, которая с сим прозванием казалась их гревосходительству не богинею мщения, а почтенною ректоршею Дерптского университета или почтенною купчихою в богатом кокошнике. Чтение прочих Парамифий отложено до следующего заседания» (112).

Оригинальная повесть Дашкова о монархе в облике мудрой собаки Баркуф до нас не дошла. Не сохранились и переводы его «Парамифий» Гердера — притчи по мотивам греческой мифологии.

На шестом заседании общества 16 декабря 1815 года Жуковский прочитал свое стихотворение «Певец в Кремле»: «Их превосходительства члены делали во время чтения различные придирки» (126). На этом же заседании Дашков во второй раз читал свой перевод «Парамифий» Гердера.

В феврале 1816 года Карамзин дважды читал арзамасцам главы из «Истории государства Российского».

11 ноября 1816 года на пятнадцатом заседании общества происходит бурная беседа о политике.

<sup>35</sup> Современник, 1854, № 6, отд. II, стр. 37—38.

24 декабря 1816 года на шестнадцатом заседании общества читаются новые произведения Жуковского: «Овсяный кисель», «Вадим», «Красный карбункул».

6 января 1817 года на семнадцатом заседании общества прочитано сочинение Батюшкова «Вечер у Кантемира».

24 февраля 1817 года на восемнадцатом заседании общества Николай Тургенев произносит речь о свободе книгопечатания.

22 апреля 1817 года на двадцатом заседании общества Михаил Орлов выступает с речью о недостатках русских периодических изданий и о необходимости выпускать арзамасский журнал.

13 августа и 6 сентября 1817 года Николай Тургенев и Михаил Орлов читали программы, посвященные политическим вопросам.

27 сентября 1817 года происходит политическая беседа об уничтожении рабства в России.

Осенью 1818 года Карамзин дважды читает арзамасцам проект своей речи для торжественного заседания Российской академии.

Этот перечень составлен по протоколам «Арзамаса», по письмам и дневникам арзамасцев. Перечень достаточно внушительный. Кроме того, не надо забывать, что, во-первых, в протоколы заносилось далеко не все то, что обсуждалось на заседаниях, и, во-вторых, протоколы, даже самые полные, не могли бы передать нам все стороны арзамасской деятельности. Известно, что арзамасцы Жуковский, Денис Давыдов, Вяземский, Василий Львович Пушкин, Батюшков, Воейков, Пушкин писали друг другу стихотворные послания. Если собрать воедино эти послания и перечитать их в хронологической последовательности, то возникнет поэтическая летопись «Арзамаса», с его атмосферой повышенной творческой требовательности, с разногласиями стилистического и иного характера.<sup>36</sup>

Критические нападки арзамасцев друг на друга не ограничивались сферой поэзии. По-видимому, Уваров имел основание утверждать, что арзамасская критика отразилась «на иных страницах Истории Карамзина».

До нас дошли многочисленные свидетельства того, что критические статьи Вяземского тщательно и придирчиво читались в рукописи Карамзиным, Блудовым, Александром Тургеневым и некоторыми другими арзамасцами. Словом, определяя роль «Арзамаса», Вяземский имел полное основание говорить, что «это была школа взаимного литературного обучения, литературного товарищества».<sup>37</sup>

Каким же образом мог возникнуть этот историко-литературный спор между Жуковским, Уваровым и Вяземским? Или скажем точнее: каким образом у арзамасцев могли сложиться столь противоположные оценки деятельности общества? Разгадка этой дилеммы не в провалах памяти, а, наоборот — в том, что память у корифеев «Арзамаса» была предельно цепкой: каждый из них воссоздавал в своих воспоминаниях такой образ арзамасского братства, каким он им представлялся в те далекие дни, когда они собирались друг у друга.

## Глава вторая

«Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 1784 года июля 16-го дня, в год смерти Дениса Дидерота. Обстоятельство сие тем примечательно, что оба сии Денисы обратили на себя внимание земляков своих бог знает за какие услуги на словесном поприще! <...>

... Давыдов не искал авторского имени, и как приобрел оное — сам того не знает. Большая часть стихов его пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам, приказаний подкомандующим. <...>

Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Молé, объятый пламенем. Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья цика. Снова мир — и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь,

<sup>37</sup> П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Изд. писателей в Ленинграде, 1929, стр. 239.

<sup>36</sup> Об этом см.: Л. Гинзбург. О лирике. М.—Л., «Сов. писатель», 1964, стр. 13—43.

ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее от-  
раслях — в юной деве ли, в произведениях художеств,  
в подвигах ли, военном или гражданском, в словесности  
ли, — везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов!»<sup>1</sup>

Так лихо, с гусарским бахвальством писал о себе  
в третьем лице поэт-партизан Денис Давыдов.

Он был старшим сыном командира Полтавского легко-  
конного полка Василия Денисовича Давыдова. Его  
тетка, Мария Денисовна, от первого брака имела сына  
Александра Каховского, любимого адъютанта Суворова,  
от второго замужества — Алексея Петровича Ермолова,  
ставшего «проконсулом» Кавказа.

Дядя Денис Давыдова, Лев Денисович, женился на  
племяннице Потемкина, Екатерине Николаевне Самой-  
ловой, по первому браку Раевской. Поэт-партизан нахо-  
дился в близких родственных связях с семьей Раевских-  
Давыдовых, владельцев знаменитой Каменки, где царил  
Аглая Давыдова, жена Александра Львовича Давыдова.  
Сын Дениса Давыдова, Василий Денисович, писал о ней:

«Эта женщина, весьма хорошенькая, ветреная и ко-  
кетливая, как истая француженка, искала в шуме развле-  
чений средство не умереть со скуки в варварской России,  
но так ее полюбила со временем, что с горестью возвра-  
щалась во Францию. Зато она в Каменке была магнитом,  
привлекающим к себе всех железных деятелей славного  
Александровского времени. От главнокомандующих  
до корнетов, все жило и ликовало в селе Каменки, но  
главное умирало у ног прелестной Аглаи. Она была  
воспета отцом моим в стихах „Если боги милосердные“,  
„Не пробуждай“, а впоследствии — Пушкиным.

Тетка моя и Н. Н. Раевского, по первому мужу, мать  
Петра, Александра и Василия Львовичей Давыдовых,  
соединяла в себе какую-то величавость с редким просто-  
душием, или скорее близорукостью относительно нравов  
в этой маленькой Капуе, и потому жизнь в Каменке  
осталась навсегда лучшим воспоминанием молодости как  
отца, так и дяди моего, Алексея Петровича Ермолова».<sup>2</sup>

В это красочное описание вкралась лишь одна неточ-  
ность: стихотворение «Не пробуждай» написано Денисом  
Давыдовым в 1834 году и посвящено другой женщине.

<sup>1</sup> Денис Давыдов. Сочинения. М., Гослитиздат, 1962,  
стр. 29, 35, 37.

<sup>2</sup> Русская старина, 1872, май, стр. 632.

Остается лишь исправить этот промах и познакомить чи-  
тателей с другим стихотворением, обращенным к молодой  
хозяйке Каменки.

#### Племяннице

Любевная моя Аглая,  
Я вижу ангела в тебе,  
Который, с неба прилетая  
С венцом блаженства на главе,  
Принес в мое уединенье  
Утехи, счастье жизни сей  
И сладкой радости волненье  
Сильней открыл в душе моей!  
Любевная моя Аглая,  
Я вижу ангела в тебе!

Ах! как нам праздник сей приятен,  
Он мил домашним и друзьям.  
Хоть нероскошен и незнатен,  
Зато в нем места нет льстецам.  
Тебя здесь дружба — угощает,  
Веселость — на здоровье пьет,  
Родство — с восторгом обнимает,  
А искренность — сей стих поет.  
Любевная моя Аглая,  
Я вижу ангела в тебе!

Но есть ли счастьем картины  
Твое я сердце не прельстил,  
Коль праздник сей тебе не мил,  
Ты в этом первая причина!  
Никто от радости рассудка не имел,  
Ты только на себя вниманье обратила,  
Я угостить тебя хотел,  
А ты собой нас угостила!  
Любевная моя Аглая,  
Я вижу ангела в тебе!

На обороте листка надпись: «Графу Александру Ни-  
колаевичу от покорного слуги Дениса Давыдова обеща-  
ные стихи для польского!».

На другом листке позднейшая справка:

«Аглая Давыдова, урожденная Грамон, дочь герцога  
Грамон, сопровождавшего Людовика XVIII в Митаву.  
Там с нею познакомился Давыдов, племянник гр. А. Н. Са-  
мойлова (сын Льва Давыдова, женатого на его сестре). Он  
на ней женился и жил с нею в Каменке в Киевской губер-  
нии. Граф же Самойлов жил в Смеле в 30 верстах от Ка-  
менки.

Поэт Д. В. Давыдов был родственник мужа Аглаи Давыдовой».<sup>3</sup>

В екатерининское царствование фортуна возносила многих; Александр Николаевич Самойлов принадлежал к числу счастливых: солдат, достигший высших государственных должностей — генерал-прокурора и государственного казначея, заслуживший титул графа. По смерти императрицы Самойлов получил отставку и жил на покое в своем имении.

От имени старого вельможи и сочинены стихи Аглае Давыдовой; вероятно, они были положены на музыку и исполнены во время семейного торжества, устроенного в ее честь.

Стихотворение написано по всем правилам мадригального славословия. И все же склонная к проказам муза Дениса Давыдова не выдержала до конца благопристойности. Кто знает, оценил ли по достоинству старый граф игривое окончание третьего куплета, но сама виновница празднества и ее молодые поклонники, должно быть, восторгались гусарской остротой Давыдова.

Минуло двенадцать лет. Аглая Антоновна по-прежнему кружила головы и военным, и статским. В 1820 году в Каменку приехал Пушкин. Подобно Денису Давыдову, он не избежал чар легкомысленной француженки. Но увлечение быстро прошло, и Пушкин «увековечил» ее в эпиграммах, столь же бесцеремонных, как и та, что их вызвала. Потом в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин, вспоминая Каменку, напишет, что его героя ласкал

... рогоносец величавый,  
Всегда довольный сам собой,  
Своим обедом и женой.

Каменка осталась памятна Денису Давыдову и Пушкину не только куртуазным бездумьем. Ведь это гостеприимное поместье, упомянутое Пушкиным в одной из строф десятой главы «Евгения Онегина», было гнездом южных декабристов. Брат «величавого рогоносца», Василий Львович Давыдов, возглавлял Каменскую управу декабристов. Его откровенным разговорам об отсталости государственного устройства России сочувственно внимали

<sup>3</sup> ГПБ, ф. 232, оп. 1, № 1.

оба поэта, уже испытывавшие на себе тяжелую десницу самовластия.

Политическая судьба Дениса Давыдова предвосхитила участь Пушкина. На всю жизнь остался памятен Давыдову 1803 год. Кругом курили фимиам Александру I, а он, Давыдов, уже распознал истинный характер царя. Молодой поэт пустил гулять по столице басни, едкие и насмешливые.

Коль ты имеешь право управлять,  
Так мы имеем право спотыкаться  
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —  
Твое величество об камень расшибить.

Александр I принял угрозу, — и не без основания, — на свой счет. Давыдова перевели из гвардии в Белорусский гусарский полк.

Самодержец оказался злопамятным: до конца его царствования Давыдова обходили чинами и наградами, мелочно жалили и незаслуженно обижали. И тем не менее в начале 1814 года вынуждены были присвоить ему генеральское звание: его часть наголову разбила пехотную бригаду противника. Война с Францией кончилась, Давыдов жил в Москве. Однажды он получает приказ из Главного штаба о том, что произошла ошибка: извольте снять генеральский мундир. Возбешенный, в штатском платье прискакал он к Вяземскому. «Штабные недососки, низкопоклонники, трусы, — закричал он с порога, — в угоду плешивому идолу лишают меня доброго имени».

Через час оглушенный водкой Давыдов спал на диване, а Вяземский склонился за письменным столом и стал писать:

Пусть генеральских эпюлетов  
Не вижу на плечах твоих,  
От коих часто поневоле  
Вздываются плеча других;  
Не все быть могут в равной доле,  
И жребий с жребием не схож:  
Иной, бесстрашный в ратном поле,  
Застенчив при дверях вельмож;  
Другой, застенчивый средь боя,  
С неколебимостью героя  
Вельможей осаждают дверь;  
Но не тужи о том теперь!  
На барскую ты половицу  
Ходить с поклоном не любил,

И скромную свою судьбину  
Ты благородством золотил;  
Врагам был грозен не по чину,  
Друзьям ты не по чину мил!

Год спустя, после жалобы Давыдова, ему вернули генеральский чин: дескать, в Главном штабе его спутали с однофамильцем его.

Членом «Арзамаса» Дениса Давыдова избрали вместе с Вяземским, Василием Львовичем Пушкиным и Батюшковым на организационном заседании общества. Вместе с ними он оживлял московские встречи арзамасцев; в заседаниях столичного «Арзамаса» Давыдов как будто не участвовал; во всяком случае его арзамасских речей не сохранилось.<sup>4</sup> Зато уцелел план арзамасского журнала; в нем первое место отведено распашным гусарским стихам Дениса Давыдова.

Теперь настала очередь представить читателям Асмодея — так в «Арзамасе» именовали Вяземского.

По бабушке швед, по матери ирландец, по деду и отцу русский, Петр Андреевич Вяземский происходил из старинного княжеского рода. Держался очень прямо, подчеркивая высокий рост и аристократическую осанку. Небольшие голубые глаза смотрели пронизательно и настороженно. С мужчинами он был невозмутим и холоден, с женщинами — оживлен и любезен, с друзьями — гуляка, ценитель остроумия и рискованных шуток; с самим собою — вечный меланхолик. Пушкинский катрен к портрету Вяземского точен и доброжелателен:

Судьба свои дары явить желала в нем,  
В счастливом баловне соединив ошибкой  
Богатство, знатный род с возвышенным умом  
И простодушие с язвительной улыбкой.

В молодости Вяземский «прокипятил» на картах полмиллиона и остепенился: далее пытаться счастье было не по карману — у него осталось лишь имя Остафьево, где часто проводили досуг московские арзамасцы.

<sup>4</sup> В сочинениях Давыдова, а затем в книге «Арзамас и арзамасские протоколы» ошибочно напечатана речь, якобы произнесенная им при вступлении в общество. На самом деле, как доказано Ю. М. Лотманом, это слегка исправленная речь Андрея Тургенева на заседании Дружеского литературного общества от 16 февраля 1801 года (Уч. зап. Тартуского ун-та, 1960, вып. 98, стр. 311).

Другой пламенной страстью Вяземского, более долговечной и более почетной, нежели пристрастие к зеленому сукну ломберных столов, была литература. Шурин Карамзина, друг Жуковского и Пушкина, Вяземский — критик, поэт, публицист, переводчик, журналист, историк литературы.

Первые в столичном «Арзамасе» Вяземский появился 24 февраля 1816 года: «Член Асмодей, столь долго отлученный от Арзамаса, предстал не с хвостом, когтями и рогами соименного ему подземного беседчика, но с кипюю эпиграмматических копей, которыми он искушал и искушает терпение халдеев» (134).

Для «отпевания» Вяземский избрал куратора Московского университета, одописца, переводчика античных авторов, патентованного мракобеса Павла Ивановича Голенищева-Кутузова.

«Кто сей заседающий рыжий муж, увенчанный лопухом кураторства, пальмою сенаторства и репейником поэзии? Гезиод у него под правую ногу, Пиндар под левую. Греть обогревает он рукою смелою, состаревшеюся в смертельных обидах, пена, бьющая слюною, подобная взбитому мылу, клубится у него во рту и отбрызги ее летят на Тибулла и на именитых современников, на которых образуется пузырями, то есть одами, и исчезает в океане воздуха, то есть в океане забвения. На голове рыцаря возвышается картуз, приосененный каплуном: продолговатый козырек скрывает от взоров его лучи солнца, которые ему не по глазам. Се он! Се он! Се защитник мой от забвения. Се — Картузов, которому обязан я лучшую мою, по мнению вашему, эпиграмму...» (137).

Картузов куратор,  
Картузов сенатор,  
Картузов поэт  
Везде себе равен,  
Везде равно славен;  
Оттенок в нем нет:  
Дурной он куратор,  
Дурной он сенатор,  
Дурной он поэт.

Говорили, что московские остряки при приближении кареты Голенищева-Кутузова громко скандировали эпиграмму Вяземского. Это ли была не известность? Впрочем,

не такую известность желал Карамзин своему молодому шурину. «Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитанике своем обуздать бранного духа, любовь же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку. Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — рука прочь, кого за голову — голова прочь».<sup>5</sup>

Много литературных противников вздернул Асмодей на острие своих эпиграмм: не было ни одного сколько-нибудь примечательного беседчика, которого бы он не обесславил.

Вслед за Асмодеем настала очередь будущего Старосты «Арзамаса»; его принимали в общество в первой половине марта.

Василий Львович Пушкин был старше многих арзамасцев; в 1816 году ему исполнилось 46 лет; лишь четырьмя годами он был моложе Карамзина. Но котировался Василий Львович не по возрасту. В нем не было ни чопорности Ивана Ивановича Дмитриева, ни корректной важности Карамзина. Общительность и добродушие Василия Львовича как-то незаметно зачеркивали разницу лет между ним и его молодыми приятелями. И вместе с тем в его поведении с ними не чувствовалось нарочитого панибратства; легко и естественно сходилась он с теми, кто годился ему в сыновья. Из арзамасцев ближе всех ему были Вяземский и Александр Тургенев.

Вяземский любил блеснуть остротой; остряком был и Василий Львович. Пустить эпиграммой — колючей в литературного супостата, дружеской в приятеля — было их любимым занятием.

Еще ближе был Василию Львовичу Александр Тургенев, вечный хлопотун, непоседа, любитель новостей и поросенка под хреном.

С другими арзамасцами отношения у Василия Львовича были куда сложнее. Они представлялись ему людьми иного склада, иных привычек, иных чувств. Для них на первом месте была служба, они умели и любили служить. Василий Львович когда-то служил в гвардии, но давно вышел в отставку и вел спокойную жизнь частного человека. К чиновным арзамасцам он относился насторо-

женно. Их служебное усердие ему было чуждо. Правда, служил и его друг Александр Тургенев; но разве можно было поставить знак равенства между ними? Александр Тургенев служил как-то легко, словно играючи, чины не портили его непоседливый и добродушный характер. А быть параспашку с Блудовым, Уваровым и Дашковым Василию Львовичу было невмоготу.

В речах словоохотливого Блудова ему чудился какой-то подвох, словно он играл с ним партию в шахматы и боялся попасться на его хитроумную комбинацию.

Дашков тянул слова медленно, будто смаковал заморский ликер; его важность подавляла Василия Львовича. И как осмеливался Жуковский именовать эту важную птицу Дашенькой, уразуметь сие Василий Львович никак не мог.

Что за человек Уваров, понять было трудно. Он напоминал калейдоскоп, ежеминутно менялся на глазах собеседника.

Но как бы там ни было, Василию Львовичу приходилось ладить с ними: у него и у них — общие враги, беседчики; у него и у них — общие друзья и наставники.

Арзамасцем Василий Львович был избран заочно, на организационном заседании общества. И в самом деле, как им было обойтись без него? Кто, как не он, одним из первых бросил перчатку Шишкову? Еще в 1810 году он писал в послании к Жуковскому:

Славянские слова таланта не дают  
И на Парнас они поэта не ведут.  
Кто русской грамоте как должно не учился,  
Напрасно тот писать трагедии пустился;  
Поэма громкая, в которой плана нет,  
Не песнопение, а сущий только бред.

В славянском языке и сам я пользу вижу,  
Но вкус я варварский гою и ненавижу.  
В душе своей ношу к изящному любовь;  
Творенье без идей мою волнует кровь.  
Слов много затвердить не есть еще ученье;  
Нам нужны не слова — нам пужно просвещение.

Последняя строка стала крылатым выражением, боевым девизом противников «Беседы».

Арзамасское общество — род литературного масонства, сказали Василию Львовичу, при вступлении в него нужно подвергнуться испытаниям, довольно тяжелым. Василий

<sup>5</sup> Вигель, т. 1, стр. 348.

Львович, который давно был настоящим масоном, охотно согласился на все предстоящие искушения. Доверчивый и бесхитростный, он не подозревал, что замысловатый ритуал был изобретен ради него одного.

Церемония состоялась в просторном доме Уварова. Василия Львовича облачили в роскошный хитон с раковинами, на голову ему надели шляпу с широкими полями и вручили посох пилигрима. Черным шелковым платком завязали глаза и повели из парадных комнат по крутой винтовой лестнице в нижний этаж. Там его ожидали арзамасцы с хлопучками в руках; хлопучки летели ему под ноги, а он бесстрашно шел вперед.

Шествие с завязанными глазами символизировало блуждание бедных читателей в мрачном лабиринте славянских периодов, а нисхождение по лестнице — погружение внуков седой Славены, божественной покровительницы шишковистов, в бездны безвкусыя и бессмыслицы.

Потом Василия Львовича завалили шубами. У всех была на памяти иронично-комическая поэма Шаховского «Расхищенные шубы», над которой много раз потешались арзамасцы. Василий Львович едва не задохся. Обильный пот, выступивший на лице его, напоминал о том ужасе, который овладевал слушателями при виде огромной, исписанной мелким почерком тетради в руках беседчика.

«Шубному прению» сопутствовала речь Жуковского: «Какое зрелище пред очами моими? Кто сей, обремененный толикими шубами страдалец? Не узнаю его! Сердце мое говорит мне, что это почтенный друг мой Василий Львович Пушкин. <...> Сие испытание конечно есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту арзамасского гуся, тогда прямо и беспрепятственно вступил в святилище Арзамаса. <...> Потерпи, потерпи, Василий Львович!... Прикасаюсь рукою дружбы к мученической главе твоей! Повязка проказница, спади с просвещенных очей его! Да погибнет ветхий Василий Львович! Да воскреснет наш возрожденный *Vor!* Рассыпьте, шубы! Восстань, друг наш! Гряди к Арзамасу. Путь твой труден. Ожидает тебя испытание» (142—143).

Василия Львовича провели в темную комнату, пахнущую перед освещенной залой, где собрались арзамасцы, и отделенную от нее аркой с занавеской огненного цвета. Пала повязка с глаз,

Он увидел чучело с огромным париком и безобразной маской; на груди чучела висела надпись со стихом Тредиаковского:

Чудище обло, озорно, огромно, стозвсно и лаяй.

Чудище изображало дурной вкус в лице Шишкова. Но эта строка из «Тилемахиды» таила и другую ассоциацию. «Если мы вспомним, что стих этот был взят Радищевым в качестве эпиграфа к его знаменитому „Путешествию из Петербурга в Москву“, дающего сжатую сатирическую характеристику всей феодально-крепостнической России, смысл аллегории безусловно выйдет за только литературные пределы, — справедливо писал Д. Д. Благой. — Здесь кстати указать, что о Радищеве в Арзамасе вообще не забывали. Среди материалов, предназначенных для предполагавшегося арзамасского журнала, намечалась специальная статья, ему посвященная» (11).

Василию Львовичу предназначалось поразить чудище стрелой. Он взял лук, натянул тетиву, стрела зазвенела, чучело упало, а вместе с ним упал от страха и сам Василий Львович: одновременно с полетом стрелы раздался выстрел из пистолета, — это пальнул холостым зарядом спрятаный за простыней мальчик.

«Не страшись, любезный странник, — обратился к нему Резвый Кот, — и смелыми шагами путь свой продолжай. <...> Какое сходство в судьбине любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта; ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах царства Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути его, грозным взором убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных, и наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждал его венец и Беата.

Гряди подобно Данту: повинуйся спутнику твоему: рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских и помни, что

Прямой талант везде защитников найдет» (143—144).

Речь Северина вывела из оцепенения Василия Львовича. Сравнение с Дантом ему несказанно польстило. А упоминание стиха из «Опасного соседа» приятно щекочет

тало самолюбие. Стих этот метил в Шаховского, нашедшего — в его, Василия Львовича, поэме — защитников в публичном доме. То был славный «утесистый» стих, раздавивший Шаховского.

Церемония продолжалась. Василий Львович облобызал лиру и сову, символы славы и мудрости.

«Прими из рук моих истинный символ Арзамаса, сего благолепного гуся, и с ним стремись к совершенному очищению, — обратился к нему Чу. — Гусь наш достоин предков своих: те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов; а сей бодрственно охраняет Арзамас от нападений беседных халдеев и щиплет их победоносным клювом» (145—146).

Затем появилась лохань с водой. Наступила очередь Кассандры. «Ты погибаешь, поэт легковёрный! — сказала она. — Для тебя запираются врата Беседы старшей и навсегда исчезают жетоны Академии. Но судьба еще жалеет тебя; она вещает: „Ты добрый человек, мне твой приятен вид; есть средство спасения!“ Так, мой друг! есть средство; оно в этой лахани. Взгляни: тут *Липецкие воды*, в них очистились многие. Творец сей влаги лишь вздумал опрыскать публику, и все переменялось: баллады сделались грехом и пошлостью; достоинство стихов стали определять по сходству их с прозой, а достоинство комедий по лишним ролям. Что говорю я? Один ли вкус переменялся? Ах, нет, все глупцы сделались умными, и в честных людях мы узнали извергов. То же будет с тобою: окунься в эти воды и осмотришь: увидишь себя на краю пропасти» (146—147).

Василий Львович торжественно омыл руки и попрыскал водой лицо. Разумеется, это не французские духи, но что поделаешь: обряд есть обряд, и необходимо подчиниться ритуалу. Блудов заключил свою речь замысловатыми словами: «...берегись полотенца, если оно сотрет воду прозрения, ты ослеп навсегда; злодеи будут твоими друзьями, безумцы твоими братьями. Избирай: Тьма или свет? Вертеп или Беседа?» (148).

Василий Львович всегда чувствовал, что Блудов — человек «с подковыкой»; так оно и оказалось.

Кассандра величественно замолкла. Заговорил Асмодей.

«Непостижимы приговоры провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на поляне Арзамаса, при-

емлю кого? Героя, поседевшего в бурях житейских, прославившегося давно под знаменами вкуса, ума и Арзамаса! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях халдейских, первый прервал безмолвие радости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда арзамасского гуся и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем Послания к Светлане и продолжал после вызывать врагов на частые битвы, битвы трудные, но всегда увенчавшие стены арзамасской крепости новою славою, новыми трофеями, новыми залогоми победы» (148).

Вяземский отдал ему полную справедливость: ведь он, Василий Львович, давно «рубился» с противником, он да Батюшков первые ополчились против беседчиков.

«Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководствовать тебя моими советами, — продолжал Вяземский, — семена арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, взрожденными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную тебе, и с вышепосланными надеждами и мудрою прозорливостью Судьба, отворяя тебе двери святыхлицца после всех и, так сказать, замыкающая тобою целое потомство арзамасских гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяет меня в справедливости моей догадки: так, ты будешь староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох: арзамасский гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварства крыла времени, сего алчного ястреба, скалящего зубы <...> на все, что носит на себе печать дарования, вкуса и красоты» (149).

Василию Львовичу оказывалась честь первостатейная. Словно и не было язвительного намека Блудова; а может быть, он и был, да что он теперь, комариный укус Кассандры, перед неслыханным торжеством Василия Львовича, первого среди арзамасцев?

Василий Львович великодушно решил предать забвению выпад Кассандры. Отогнал прочь и мельком возникшую мысль о том, что его мистифицируют. Триумф его представлялся ему столь ослепительным, что всякая

мысль о шутке казалась нелепой. Единственной несуразностью во всем обряде была изобретенная ему кличка — Вот; черт знает, что за кличка; впрочем, звали же Дашкова — Чу.

С ответной речью выступил Вот; он «отневал» поэта-беседника князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова: «Стихотворения песнопевца, в которых мало глаголов и столь много пустоглаголения, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина, останутся на сведение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них. О *vanitas vanitatum, omnia vanitas!*» (151).<sup>6</sup>

Следующее заседание «Арзамаса» состоялось неделю спустя. Василий Львович замешкался в кондитерской — и, как он ни торопился, как ни прельщал извозчика значными чаевыми, опоздал без малого на час. Эта неосторожность едва не погубила его; протокол, написанный Светланой по поводу неуважительного поведения арзамасского старосты, гласил:

«Усмотря из непристойных поступков новопринятого члена его превосходительства *Вот*, что он, едва вступив в Арзамас, уже корячится назад и, не давши нам видеть порядочно своей головы, уже выказывает нам с некою неблагопристойною небрежностью свою задницу, так что мы не знаем еще наверное, что у него голова и что задница, заметив, что он, не согрев еще своего места в Арзамасе, уже не является к своему месту, рассудили мы, что он будет не член Арзамаса, а нечто похожее на беседное самодвигающее, ленивый угодник бездействия, зевающий шершень, мохнатый и одержимый подагрой шмель в благословенном улье деятельных пчел, —

*Приказали:* Признать сего возрожденного арзамасского гуся мертвою совою Беседы, отнять у него титул *Вот* и делать его Плевакинским под титулом; запретить ему ездить по улице в колеснице или на коше, или в санях, а смиренно верхом на палке или в салазках, везомых тою мосьюкою, которая лаяла на слона, и держать сего слона на коленях и баюкать его с материнскою нежностью; в стихах своих должен он призывать не музу, а Варюшку; спать на сундуке; водиться с одним сизым котом; есть с ним из двух медных тазов; безденежно, всякий день,

отходя ко сну ставить клистир или мыльцо своей малиновке; пить пунш из Липецких Вод, подливать в него вместо французской водки свои французские романсы; вместо лимона выжимать из головы своей мысли, и подсыпать толченых характеров вместо сахара. . .

На сем месте уткнуло грозное негодование наличных членов, ибо его превосходительство *Вот* сам сделался наличным и вслед за ним, издавая некоторые непонятные звуки, притекла *Эолова Арфа*, нареченный оратор заседания. Члены-мстители устыдились своей поспешности, они простерли в знак примирения руки добросовестному *Воту*, который, выслушав несправедливые на него хуления, с свойственным ему снисхождением простил им их несправедливость, которая едва-едва не сделалась справедливостью. Но дабы воздержать будущих арзамасцев от подобной постыдной поспешности, положено ввести в протокол сей гнусный проект хулы и брани, а его превосходительство *Вот* произвести в старосты Арзамаса, с приобщением к его титулу двух односложных слов *я* и *вас*, так что впредь он будет именоваться *Староста Вот я вас!* И горе Беседе!» (154—155).

Василий Львович блаженно улыбался. Арзамасская галиматъя Жуковского была ему по сердцу. Как ловко влипла Светлана в шутливую анафему панегирик его «Опасному соседу»; ведь и впрямь Варюшка, веселая героиня поэмы (не для дамского чтения предназначенной), была его истинной музою; в нем самом как-то причудливо сочетались изысканный парижский лоск и влечение к «забавам простонародья».

А галиматъя между тем неслась вскачь.

«Привилегии старосты Арзамаса суть следующие:

I-е. Голос его в различных прениях Арзамаса имеет силу трубы и приятность флейты: он убеждает, репит,<sup>7</sup> трогает, наказует, осмеивает, пленяет и прочее, и прочее.

II-е. Он первый подписывает протокол и всегда с личной размашкою.

III-е. Вытребовать у него список известной его проказы с веселою музою, именуемой *Опасный сосед*, переписать ее чистым почерком, переплести в бархат и признать арзамасскою кормчею книгою.

<sup>7</sup> Т. е. вершит власть.

<sup>6</sup> О суета сует и всяческая суета! (*лат.*).

IV-е. За ужинами арзамасскими жарить для него особенного гуся, оставляя ему на произвол или скушать его всего, или, скушав несколько ломтей, остаток взять с собой на дом. NB От всех сих гусей отрезаются гуски и остаются при бумагах собрания.

V-е. Место его в заседаниях должно быть подле президента, а вне заседания в сердцах у друзей его» (155).

Василий Львович был польщен; он уже видел своего «Опасного соседа» в бархатном переплете, торжественно лежащего перед арзамасцами. Справедливость побеждает! Василий Львович вспомнил, как герой поэмы Буянов, вместе со своим «опасным соседом», мчался по Москве на паре добрых коней:

Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская  
Дивились двоице, на бег ее взирая.  
Позволь Варяго-Росс, утрюмый наш певец,  
Славянофилов кум, взять слово в образец.  
Досель в невежестве коснея, утопая,  
Мы, парой двоицу по-русски называя,  
Писали для того, чтоб понимали нас...

Лихой наскок на беседчиков, на пристрастие их к старинным, вышедшим из употребления словам Василий Львович совершил еще пять лет назад, в достопамятном 1811 году, когда он приехал в столицу, чтобы устроить своего племянника в Царскосельский лицей.

Вскоре Василий Львович и Вяземский отправились в обратный путь. По дороге они посетили Царское Село, повидали молодого Пушкина и тронулись дальше. Вечером остановились на одной из почтовых станций. На столе тускло горели две сальные свечки, шумно клокотал самовар. Василий Львович стал строчить шуточные стихи:

Почтенные друзья, вас молит староста —  
Не оставляйте здесь меня, пожалуста.  
Я вас прошу, ваше сиятельство,  
Не сделайте предательства.  
Любя меня, имейте сожаленье,  
Ах! одиночество есть жизни отравленье,  
Хотя б влюбилась здесь в меня посадица.  
Не в Тосне, но в Москве быть хочет задница.

Это были вирши на заданные рифмы; в умении быстро составлять подобного рода стихи никто из современников не мог сравниться с Василием Львовичем, Вяземский

писал на листочках рифмы и подавал их Василию Львовичу; тот пробежал их глазами, затем брал перо и мгновенно писал стихи. За этими затеями дорога казалась коротче.

В Москве Василий Львович разобрал дорожные листочки, кое-какие стихи переписал и послал арзамасцам. Староста и не подозревал, какую бурю негодования навлекает он на себя.

Жуковский был в отъезде; за его отсутствием секретарствовал в Арзамасе Блудов. Он и ударил в набат: созвал чрезвычайное собрание общества, прочел присланные стихи Старосты.

«Тщетно гремел звонок председателя, тщетно Касандра отмахивалась жреческим покровом, дерзкие окружали ее бурною толпою, силясь вырвать и истребить навсегда отвратительных братьев *Опасного соседа*: „Ах! Успех сего Соседа в самом деле опасного, ослепил бедного Старосту“, — так вопияли арзамасцы, — но разве Староста думает, что кто обедал с удовольствием в красивой парижской ресторации, того можно вести и в вонючую харчевню города Кирижача. Да погибнут эти стихи поношения *Вот я Васа* и всего нашего Общества!» (163).

Решение последовало суровое: Василия Львовича лишили звания Старосты, переименовали в Вотрушку, приговорили к поэтическому покаянию — хорошими, а не дорожными стихами.

«Отставному Старосте приказ был читан при Карамзине и Дмитриеве, — сообщал Вяземский Александру Тургеневу. — Что делал тогда обвиненный? спросите вы.

Он глядел на лунный свет  
Бледный и унылый!

Во время будет прислано подробное описание».<sup>8</sup>

Оно неизвестно. Но и без него ясно, что оскорбительный вердикт был прочтен Василию Львовичу на заседании московских арзамасцев.

Никогда в жизни он не был так опельмован — и кем? Добро бы Шишковым, Шаховским или кем-нибудь еще на III; так нет же, оскорбили его арзамасцы, приятели, единомышленники. И афронт нанесен публичный,

<sup>8</sup> ИРЛИ, ф. 309, № 2727.

обесславили его на обе столицы. Без ответа оставлять такое надругательство он не собирался.

Василий Львович засел за послание к арзамасцам; эпитафией к нему он взял слова Цицерона: «Тот, чьи уши закрыты для истины так, что они не в состоянии услышать слова правды, произносимые другом, для того нет надежды на спасение».

Василий Львович был природный полемист; он знал, что лучшая защита — нападение. И он пошел в атаку:

Я грешен. Видно, мне кибитка не Парнас;  
Но строг, несправедлив карающий ваш глас,  
И бедные стихи, плод шутки и дороги,  
По мнению моему, не строили тревоги,  
Просодии в них нет, нет вкуса — виноват!  
Но вы передо мной виновнее стократ.  
Разбор, поверьте мне, столь одикий, не услуга;  
Я слух ваш оскорбил, вы оскорбили друга.

Этой афористической строчкой Василий Львович мог бы закончить свою отповедь арзамасцам, победа была на его стороне. Но это было лишь начало.

Вы вспомните о том, что первый, может быть,  
Осмелился глупцам я правду говорить;  
Осмелился сказать хорошими стихами,  
Что автор без идей, трудясь над словами,  
Останется всегда невеждой и глупцом;  
Я злого Гашпара<sup>9</sup> убил одним стихом,  
И гнева не боясь варягов беспокойных,  
В восторге я хвалил писателей достойных!  
Неблагодарные! О том забыли вы,  
И ныне, не щадя седой моей главы,  
Вы издеваетесь бесчинно надо мною;  
Довольно и без вас я был гоним судьбою!  
В дурных стихах большой не вижу я вины;  
Приятели беречь приятеля должны.

Но все ли они его приятели? Было над чем задуматься Василию Львовичу; он задумался и написал:

Здесь острое слово приязни всей дорожке,  
И дружество почти на ненависть похоже.

Порой Василий Львович писал вяло и суетно. Но стоило задеть его за живое, как он преображался, стих его

<sup>9</sup> Под Гашпаром, героем «Расхищенных шуб» Шаховского, В. Л. Пушкин подразумевает самого автора этой поэмы.

становился упругим, мысль — острой, слог — афористичным, отпор — сокрушительным.

Однако с соратниками своими нельзя было ссориться всерьез, достаточно было проучить их по-свойски.

Вы все любезны мне, хоть я на вас сердят;  
Нам быть в согласии сам Аполлон велит,  
Прямая наша цель есть польза, просвещение,  
Богатство языка и вкуса очищенье;  
Но должно ли шутя о пользе рассуждать?  
Глупцы не престают возиться и писать,  
Дурачить Талию, ругаться Мельпомене;  
Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.  
Нет, явною войной искореним врагов!  
Я верный ваш собрат и действовать готов...

Василий Львович придирчиво перечитал послание, остался им доволен и в первый же почтовый день отправил его в Петербург.

Наступило 10 августа 1816 года. «.. весь Арзамас, покорный закону, поместился в колесницу его превосходительства Старушки. Быстро летела сия колесница по звонкой мостовой и по пыльной дороге, но мысли арзамасцев при чтении секретаря Кассандры летели еще быстрее; они много раз достигали древних Кремлевских башен, там любовались седидами своего прежнего Старосты и потом возвращались в колесничное заседание, чтобы снова внимать стихам его. Ни глотаемая ими пыль, ни стук колес, ни бурчание, происходившее в брюхе г-жи Арфы, ничто не развлекало арзамасцев; жадный, очарованный слух свой они склоняли единственно к посланию любезного преступника. Часто дивились, что могли быть строги к такому Старосте, но в то же время и радовались своей строгости, ибо она произвела новые стихи его. О! будь благословенна излишняя наша строгость, и ты, о Муза старосты, ты говоришь о седидах главы его и осыпаешь их блестящими цветами юности: ты доставила ему торжество завидное, тобою вдохновенный он победил и предубеждения слабых товарищей, и наущения закоснелых беседчиков; он побранил арзамасцев и самою бранью обезоружил их критику» (171).

Так записано в протоколе 14-го ординарного заседания «Арзамаса»; оно происходило на колесах, в карете, которая везла Александра Тургенева, Блудова, Уварова, Жихарева, Северина и Вигеля в Царское Село.

Василию Львовичу вернули почетное звание Старосты и стали опять именовать его, взамен презрительной Вотрушки, Вот я вас. Но как ни пытался Блудов (на время отъезда Жуковского из столицы он секретарствовал в обществе) с достоинством идти на попятный, арзамасцы понимали, что ранее они поступили опрометчиво и вполне заслужили нагоняй от Старосты.

Василий Львович, забыв про свою подагру, ездил по Москве, читал в гостиных послание к арзамасцам и с шумной радостью рассказывал о своей победе.

Вяземский, Давыдов, Карамзин, Дмитриев, Батюшков поздравляли сияющего Василия Львовича.

Весь 1816 год Батюшков жил в Москве, — вот почему рассказ об Ахилле — так прозвали его в «Арзамасе» (малый рост Батюшкова удачно контрастировал с образом могучего героя) — естественно примыкает к рассказам об арзамасцах древней столицы.

«В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научить снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке».

Так писал Батюшков в 1817 году; и самого себя не изымал он из общего правила: «Ему около тридцати лет. <...> Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны, и на биваках был здоров, в покое — умирал! <...> Он служил в военной службе и в гражданской: в первой очень усердно и очень неудачно; во второй удачно и очень неусердно. Обе службы ему надоели, ибо поистине он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста. Как растолкуют это? Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка. В нем два человека: один — добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил; другой человек — не думайте, чтобы я увеличивал его дурные качества, право нет, и вы увидите сами почему, — другой человек — злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до из-

лишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле. <...> добрый любит людей и горестно плачет над эпиграммами черного человека».<sup>10</sup>

Несколько лет спустя единоборство Черного с Белым закончится трагически: Батюшков потеряет рассудок 35 лет от роду; а умрет он еще через 33 года — благотельный тиф освободит его от земных страданий.

Предчувствием беды стоял перед его глазами образ несчастного поэта Италии: в 1808 году Батюшков написал стихотворение «К Тассу», в 1817 году — элегию «Умиравший Тасс». Словно навязчивая идея, преследовал его этот образ; недаром современники прозвали его «русским Тассо»; и недаром, по мнению Пушкина, надобно «уважать в нем несчастья и *не созревшие надежды*».

Но в 1813 году, когда Батюшков, при участии А. Е. Измайлова, писал пародию «Певец в Беседе любителей русского слова», печальная развязка была еще далека.

Тот наш, кто каждый день кадит  
И нам молебны служит, —  
Пусть публика его бранит,  
Но он о том не тужит!  
За нас стоит гора горой,  
В Беседе не зевает.  
Прямой сотрудник, брат прямой  
И в брани помогает!  
Хвала тебе, славофил,  
О муж неукротимой!  
Ты здесь рассудок победил  
Рукой неутомимой.  
О, сколь с наморщенным челом  
В Беседе он прекрасен,  
И сколь он хладен пред столом  
И критикам ужасен!  
Упрямство в нем старинных лет,  
Хвала седому деду!  
Друзья! он, он родил на свет  
Славянскую Беседу!

Пародия писалась на переputье военных дорог, в Петербурге, в ожидании отъезда в действующую армию.

<sup>10</sup> К. Н. Б а т ю ш к о в. Сочинения. М., Гослитиздат, стр. 395, 401—402.

Вскоре Батюшков направляет свой путь в Главную квартиру, в Дрезден; адъютантом генерала Раевского он совершает поход из Саксонии во Францию. По капитуляции Парижа он знакомится с достопримечательностями французской столицы, затем посещает Лондон. Стокгольм и летом 1814 года вместе с Блудовым возвращается в Россию.

Время изменило Батюшкова. Прежде он был живой, веселый, насмешливый; теперь он стал задумчивым и молчаливым. Соперницей поэзии его выступает проза: историко-публицистические эссе, критические статьи. Эпиграммы уже не льются с его пера, к пародиям он полностью охладевает; по иронии судьбы, Батюшков «арзамасил» до «Арзамаса». Его единственная речь, в которой он «отпел» секретаря Российской академии П. И. Соколова, не сохранилась. Скорее всего, Батюшков импровизировал ее; буффонада теперь была ему чужда, и, исполнив с грехом пополам докучную для него обязанность, он поленился, — а может быть, не считая достойным — увековечить свое выступление. Не буффонадой, а своим положительным потенциалом привлекал «Арзамас» Батюшкова, теми сторонами своей деятельности, которые сближали его с идеями оленинского кружка.

Вхождение с 1810 года в круг будущих арзамасцев не помешало дружеским отношениям Батюшкова с Гнедичем и Олениным. Когда в 1817 году Оленин был назначен президентом Академии художеств, все арзамасские поэты промолчали, — все, кроме Батюшкова; он приветствовал Оленина шутивными стихами, радуясь, что президентом стал человек,

Который без педантизма,  
Без пузы барской и без чванства,  
Забот неся житейский груз  
И должностей разнообразных бремя,  
Еще находит время  
В снегах отечества лелеять знобких муз,  
Лишь для добра живет и дышет,  
И к сим прибавьте чудесам:  
Как Менгс<sup>11</sup> — рисует сам.  
Как Винкельман красноречивый — пишет.

<sup>11</sup> Менгс Рафаэль Антон (1728—1779) — немецкий художник, опубликовавший несколько теоретических трактатов по искусству в духе Винкельмана.

До Винкельмана Оленину было далеко! Батюшков явно хватил через край. Но само по себе сопоставление их имен не вызывает удивления: ведь Оленин исповедовал идеи немецкого теоретика искусства. Во многом они были близки и самому Батюшкову; античность и просвещение — таково в двух словах его историко-литературное кредо.

В «Арзамас» Батюшков прислал свое сочинение «Вечер у Кантемира»; оно было прочитано 6 января 1817 года, на семнадцатом заседании общества: «...Ахилл, как тосканский фигляр, показал нам в своем волшебном фонаре тени покойных арзамасцев, французского Монтескье и греко-русского Кантемира. Они между собой говорят как живые достойные члены Арзамаса (большей похвалы нет в лексиконе ученых обществ): иногда можно было узнать фигляра по голосу, но тени покойников и за это коленцо не рассердятся» (188).

Еще бродя по улицам французской столицы, Батюшков вспоминал Антиоха Кантемира, сатирика и дипломата, русского посла в Париже в середине XVIII столетия. Теперь воображение переносит его в парижский дом Кантемира; к нему в гости он приводит Шарля-Луи Монтескье, знаменитого просветителя, и аббата Клода-Генри Вуазенона, писателя ныне забытого, а некогда имевшего успех. Человек не без дарований, но с болезненным самолюбием, Вуазенон осыпал насмешками, остроумными и беспощадными, всех, с кем его сводила судьба, — разумеется, за исключением сильных мира сего: к ним он проявлял изысканное подобострашие и шлет; «пригоршней блох» называли Вуазенона современники.

Маленький аббатик,  
Что в гостиных быть привык  
В маленький набатик,

— писал Денис Давыдов о Чаадаеве; эти памфлетные строки с еще большим правом могут быть отнесены к Вуазенону.

Монтескье позволял Вуазенону дружить с ним; ведь его, Монтескье, этот тщедушный аббат, с глазами, холодно смотрящими в разные стороны, с презрительной улыбкой, змеящейся между чувственными губами, никогда не осмеливался задеть.

Почему вздумалось Батюшкову навязать в спутники Монтескье злоречивого аббата? Почему он не ограничился диалогом между Кантемиром и Монтескье? Ведь реплики Вуазенона как две капли воды похожи на суждения Монтескье. В чем же тут умысел?

Вуазенон выступает двойником Монтескье — и тень его репутации падает на знаменитого мыслителя. А зачем подобное двойничество понадобилось Батюшкову, мы скоро увидим.

«Монтескье. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления, почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка, — все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

Аббат В. Я с вами согласен и полагаю, что все усилия исполнского царя, все, что он ни сотворил железною рукою, все разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным, и вся полудикая Московия снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

Кантемир. Я осмелюсь спорить с великим творцом книги «О существе законов» и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду.<sup>12</sup> <...> Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же вы хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума».<sup>13</sup>

«Вечер у Кантемира» — исторический маскарад, XVIII век — время условное, действующие лица — китай-

ские тени. На самом деле арзамасец Батюшков писал прежде всего о современности, о спорах «Беседы» и «Арзамаса», о путях общественного развития России, о значении петровских реформ, о судьбах отечественного просвещения. Скептические суждения Монтескье и Вуазенона спроецированы на консервативную позицию Шишкова, а Кантемир представлен по образу и подобию Карамзина:

«Кантемир. <...> Я первый осмелился писать так, как говорят; я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому, и открыл новую дорогу для грядущих талантов».

Но при всем животрепещущем характере «Вечера у Кантемира» это не только аллюзия — «добру молодцу урок». Эссе имеет двойной план, двойное освещение. Исторические параллели не означают тождества, каждый ряд сохраняет и самостоятельное значение. Кантемир все-таки не Карамзин, и тем более Монтескье (даже со своим двойником Вуазеноном) не Шишков. Именно так и судили о «Вечере у Кантемира» сами арзамасцы. И недаром они зачислили в члены «Арзамаса» «французского Монтеские и греко-русского Кантемира».

Вербовать в арзамасцы благородных покойников, тех, к кому члены общества чувствовали идейные симпатии, являлось исконной традицией «Арзамаса».

Осенью 1817 года вышли в свет два тома «Опытов» Батюшкова; он был вторым арзамасцем, собравшим воедино своих «чад»; в 1815—1816 годах издал свои произведения Жуковский.

Одно дело, когда стихотворения или статьи разбросаны по журналам и альманахам; совсем другое дело, когда они появляются под одной обложкой. Тут начинается магия единого целого, взаимный ответ одних произведений на другие, восприятие разноцветных переливов, тончайших оттенков поэтической палитры, — словом, возникает портрет писателя во весь рост. Тогда особенно настоятельно требуется умное слово критика.

И оно прозвучало: во французской газете «Le conservateur impartial», выходившей в Петербурге под эгидой министерства иностранных дел, появилась статья Уварова; вот ее русский перевод:

«В политике, как и в литературе, нет сходства между соседними поколениями. Эта истина особенно ощутима

<sup>12</sup> Эпименид — жрец с острова Крита; по позднейшему преданию, он заснул юношей в зачарованной пещере и проснулся лишь через 57 лет.

<sup>13</sup> К. Н. Батюшков. Сочинения, стр. 362—365.

у тех народов, которые и не остановились еще в своем развитии, и не идут назад. Беспреданное развитие мысли постоянно приводит к новым результатам, и это развитие становится иногда столь стремительным, что тридцатилетние и шестидесятилетние, кажется, говорят на разных языках, кажется, не являются даже соотечественниками. Эти внезапные переходы, не имеющие ничего общего с вечным совершенствованием, становятся все более явными в нашей литературе. Если должно называть школой некоторое количество писателей, исходящих из одних и тех же доктрин, возросших на одних и тех же учениях, стремящихся к одной и той же цели, хотя и разными средствами, и убежденных в необходимости объединиться во имя общих принципов, если, повторяю, это является необходимым условием для создания школы, то нельзя не признать, что в русской литературе их по крайней мере две. Мы не намерены сравнивать эти школы; подобные сопоставления почти всегда в чем-то ошибочны и часто вызывают отвращение; в литературе, как и в политике, все хорошо в свое время, и старая школа (если допустимо объединить под одним названием князя Кантемира и Ломоносова) представлена многими именами, уже давно заслужившими бессмертия. С воцарением Александра I в России началась новая эпоха; новая эра открылась и в литературе; мы попытаемся проследить отличительные свойства новой школы на произведениях одного из самых блестящих представителей ее.

Несомненно, что среди нынешнего поколения поэтов первое место принадлежит Жуковскому; даже враги его, — а было бы досадно, если бы он их не имел, — кажется, не оспаривают этого утверждения. Певец 1812 года — любимец нации. Это общепризнано; отдавая превосходство его таланту и не оспаривая права его на первое место, ценители затрудняются определить место Батюшкова, про которого можно сказать *non secundus sed alter* (не второй, а другой). Поэтический талант его, который во многих отношениях не ниже таланта Жуковского, столь отличен от него по своему характеру, что мысль о подчинении неуместна. Для них является общим тонкое чувство красоты языка, воображение блестящее, гармония совершенная; но они идут разными путями: Жуковский, воспитанный на творениях английских и немецких поэ-

тов, создал у нас жанр Вальтера Скотта, лорда Байрона и Гете; Батюшков, страстный любитель итальянской и французской поэзии, увлечен подражанием *molle atque facetum* (гибким и грациозным), которое отличает первую, и остроумным изяществом последней. Жуковский более красноречив и устремлен ввысь, Батюшков же изысканнее и законченнее; один смелее, другой не оставляет ничего на волю случая; первый — поэт Севера, второй — поэт Юга. Краски Жуковского сильны и живописны, стиль его сверкает образами, чувство живое и глубокое одухотворяет все его сочинения. Батюшков более уравновешен и сдержан, в проявлениях смелости у него сквозит мудрость, вкус его изощреннее; он скорее эротичен, нежели влюблен, более страстен, нежели чувствителен, он с равным успехом подражает Тибуллу и Парни. Среди произведений, помещенных во втором томе, особо выделяются несколько элегий, написанных в манере Тибулла, два-три очаровательных стихотворения в подражание Парни, перевод из Мильвуа „Состязание между Гомером и Гезиодом“, несколько дружеских посланий, пьеса, в которой любви к путешествиям противопоставлены прелести уединенной жизни; наконец, элегия „Умирающий Тассо“, которую можно считать его шедевром. Действительно, немногие сюжеты могли бы так воспламенить воображение. Капитолий в ожидании триумфа поэта, улицы осыпаны цветами, первосвященник готов увенчать лаврами певца Готфреда и вознаградить его наконец за несправедливость судьбы, ожесточенно его преследовавшей, — и посреди этой картины грустное ложе Тассо, тщетно умоляющего Провидение продлить на один день его жизнь, Тассо, умирающего в момент своего апофеоза, с именем любимой Элеоноры на устах. Можно сказать, что Батюшков оказался достойным избранного им сюжета. Его язык изобилует богатством выражений, краски его необычайно живые, в нем много вкуса и чувствительности. При чтении этого произведения, кажется, чувствуешь дыхание Италии. Знатоки восторгаются этим стихотворением и неустанно выставляют его как образец тем из наших молодых поэтов, которые не находят удовлетворения в случайном подборе рифм.

Выход в свет произведений Батюшкова — услуга отечественной литературе; мы рассмотрели его поэзию; впрочем, в прозе он пишет с той же изысканностью и

приятностью. Первый том содержит прозу, второй — стихотворения».<sup>14</sup>

Тонкий, проникновенный разбор поэтических «Опытов» должен был порадовать Батюшкова.

Для нас же особенно примечательно начало статьи, те ее строки, где Уваров ставит точки над «и»: в русской словесности существует две школы; перед нами краткий литературный манифест новой школы. Что же это за школа?

Уваров не дает четкого ответа на этот вопрос, он лишь ссылается на «водораздел» поколений: новая школа — школа молодых. Это справедливо, но недостаточно.

Принято сторонников новой школы этой поры называть карамзинистами, т. е. считать их приверженцами языковой реформы Карамзина и врагами его литературных врагов. Это в общих чертах правильно и не требует особых пояснений. Но можно ли ставить знак равенства между карамзинистами и арзамасцами?

Если речь идет об общественной направленности арзамасцев, об их отталкивании от консервативно настроенных беседчиков, то термин «карамзинист» по отношению к ним законен и точен; ведь в историю русской общественной мысли Карамзин вошел антагонистом Шишкова. Литературно-общественная деятельность Карамзина, автора «Писем русского путешественника» и «Истории государства Российского», издателя журнала «Вестник Европы», оставила заметный след в истории русского просветительства. Именно эта прогрессивная ориентация Карамзина оказалась исключительно близка его молодым друзьям по «Арзамасу».

По своей исторической роли просветительство — явление буржуазное. И как правило, идеологами просветительства выступали представители третьего сословия Франции, Англии, Германии. Иное положение в России; здесь тоже мы встречаем просветителей-разночинцев, но

<sup>14</sup> Le conservateur impartial, 1817, 16 (28) Octobre, № 83, р. 414 (подлинник по-французски). — Статья напечатана анонимно; ее принадлежность Уварову удостоверена Н. И. Тургеневым: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 235 (письмо от 16 октября 1817 года). — Беглый пересказ этой статьи см.: Вестник Европы, 1817, т. 96, № 23—24, стр. 204—207.

в силу исторической отсталости страны они не представляли собою заметной силы. Основное ядро русских просветителей вплоть до 1830-х годов — дворяне.

В 1780-е годы в Москве развилось бурное Друзеское учение общество. Оно открывало типографию, переводило и издавало книги, выпускало журналы, содержало молодых стипендиатов, будущих педагогов и переводчиков. Среди участников общества мы встречаем имена известных деятелей русского просвещения того времени — Н. И. Новикова, И. Г. Шварца, И. В. Лопухина, М. М. Хераскова, И. П. Тургенева, А. М. Кутузова, Н. М. Карамзина и многих других, всего более пятидесяти человек. В начале 1790-х годов, во время правительственных гонений на масонов, Друзеское учение общество прекратило свое существование.

С воцарением Павла I некоторые участники этого общества опять собрались в Москве. В гостеприимном доме Ивана Петровича Тургенева, ставшего попечителем Московского университета, возникает кружок молодого поколения. Сыновья И. П. Тургенева — Андрей и Александр, Жуковский, Мерзляков, Воейков, братья Кайсаровы, Родзянко — вот участники нового кружка. Здесь не место подробно рассказывать о занятиях молодой литературной дружины, об их спорах и разногласиях.<sup>15</sup> Для нас сейчас важно отметить лишь одно: на рубеже XVIII и XIX столетий этот кружок принимает эстафету просветительства от старшего поколения, и не только принимает, но и передает ее дальше. Карамзин, один из самых молодых деятелей Друзеского учения общества, станет почетным арзамасцем, а трое участников Друзеского ли-

<sup>15</sup> Об этом см.: В. М. Истрин. 1) Друзеское литературное общество 1801 г. (По материалам архива братьев Тургеневых). — ЖМНП, 1910, № 8, отд. II, стр. 273—307; 1913, № 3, отд. II, стр. 1—26; 2) Младший Тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. — В кн.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911, стр. 1—134; 3) А. С. Кайсаров, профессор русской словесности, один из младшего Тургеневского кружка. — ЖМНП, 1916, № 7, отд. II, стр. 102—134; Ю. М. Лотман. 1) Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1958, вып. 63, стр. 18—76; 2) Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Друзеском литературном обществе». — Литературное наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956, стр. 323—338; М. Халанский. К истории возникновения «Арзамаса». — Мирный труд, 1902, № 1, отд. II, стр. 57—59.

тературного общества — Жуковский, Александр Тургенев, Воейков — примут арзамасское крещение. Так возникает преемственность нескольких поколений дворянских просветителей.

Обратим внимание на одну характерную деталь, подчеркнутую в названии обоих кружков, — *Дружеское* учебное общество, *Дружеское* литературное общество. Культ дружбы, эту интимную, нравственную «сердцевину» братства, арзамасцы восприняли от своих московских предшественников.

Под воздействием культа дружбы видоизменяется иерархия литературных жанров; дружеское послание и дружеское письмо быстро поднимаются к вершине жанровой пирамиды. Арзамасцы непрерывно пишут друг другу дружеские послания и письма; эти интимные жанры теряют интимность: послания печатаются (правда, с выбором, — тут учитываются цензурные возможности, а иногда и некоторые другие обстоятельства), письма пишутся «с прицелом» на потомство. Дружеские мотивы вторгаются и в другие жанры лирической поэзии.

Культ дружбы резко обособлял арзамасцев от средних представителей дворянской культуры. Вяземский позднее писал:

Нередко нам — кто ж не слышал — пеняли,  
Что мы кружком, средь арзамасских стен,  
Олигархически себя держали,  
Как говорят, в республике писмен.

Парадоксально, но неоспоримо — олигархическая замкнутость арзамасцев была не аристократическим высокомерием, а, наоборот, явлением прогрессивным: она ограждала просветительский островок «Арзамаса» от бурного прибой дворянской реакции.

Однако установление общественных истоков арзамасской идеологии не дает еще ответа на вопрос, какова же была литературная платформа «Арзамаса».

Здесь уместно вспомнить наш пролог; в нем говорилось о том, что идеи неоклассицизма, взращенные в приютинских лесах и рощах, дали пышные побеги: там же мы упоминали о том, что будущие арзамасцы Батюшков и Уваров шли по пути неоклассицизма. По той же дороге, каждый своей походкой, шли и другие арзамасцы.

Дашков, поклонник Гердера, переводил греческую антологию. Вместе с Уваровым, — а если не замыкаться рамками «Арзамаса», то и вместе с Олениным и Гнедичем, — он представлял в России ту линию немецкого просветительства, которая по трудам Гердера и Винкельмана воспринимала дух и формы античной культуры.

К греческой антологии обращался и Батюшков, деливший свои литературные пристрастия между французскими авторами и поэтами Италии.

Василий Львович Пушкин, Вяземский, Воейков, Блюдов, молодой Пушкин более тяготели к французскому просветительству, к французской литературной традиции.

Крупнейшим поэтом «Арзамаса» являлся романтик Жуковский.

Итак, можно утверждать, что не существовало *единой* литературной платформы «Арзамаса».

### Глава третья

Карамзин приехал в Петербург с рукописью «Истории государства Российского». Ему предстояли трудные хлопоты — получить дозволение печатать без цензуры свою «Историю»; подобное мог разрешить только царь. Кроме того, нужны были деньги, и немалые, на бумагу, на типографские расходы.

Александр I долго не принимал историографа. Пришлось пойти на унижение, отдать визит Аракчееву; за поклон временщику Карамзин получил то, за чем ехал в Петербург.

В хождениях по мукам прошло шесть недель, тревожных и невеселых. Единственной отрадой Карамзина в эти дни было чтение глав «Истории» друзьям и знакомым.

Два раза собирались арзамасцы в доме Екатерины Федоровны Муравьевой, где остановился историограф, и слушали повествование о временах мпнувших. 28 февраля 1816 года Карамзин писал жене: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня арзамасцы; вот истинная русская академия, составленная из молодых людей, умных и с талантом», три дня спустя он подтвердил свой приговор:

«Сказать правду, здесь не знаю ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть».<sup>1</sup>

Симпатия была взаимной. Арзамасцы решили уважить историографа. На одно из заседаний общества «приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков <...> и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским».<sup>2</sup>

Так вспоминал Вигель. Список почетных арзамасцев, сообщенный им, точен — те же самые имена записаны на особом листке Блудовым; впрочем, в его перечне числится еще одно лицо — статс-секретарь по иностранным делам Каподистрия. Между тем, в другом месте своих записок Вигель сообщает, что он не знал и даже никогда не видел Каподистрия. Скорее всего, Каподистрия — начальство Блудова и Дашкова — числился лишь номинально. Впрочем, и остальные почетные члены не были частыми посетителями «Арзамаса»; кличек они не имели и в протоколах общества, как правило, не расписывались; встречается лишь несколько раз подпись почетного гуся Михаила Салтыкова.

Что же это были за люди, которые наравне с Карамзиным удостоились высокой арзамасской почести?

Об Александре Николаевиче Салтыкове наши сведения крайне скудны. Сын фельдмаршала Н. И. Салтыкова, сенатор, член Государственного совета, он воспитывался вместе с будущим императором Александром I; какое-то происшествие тех лет надолго охладило их отношения. Он числился по Коллегии иностранных дел; скорее всего, в общество его пригласили арзамасцы, служившие по дипломатической части.

Его однофамилец Михаил Александрович Салтыков начал военной службой; при Екатерине II достиг чина полковника, был близок к Потемкину; при Павле I находился в опале.

<sup>1</sup> Н. М. Карамзин. Незданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб., 1862, стр. 165.

<sup>2</sup> Вигель, т. 2, стр. 101.

Салтыков боготворил Руссо и слыл в обществе за «якобинца»; якобинцем он, конечно, не был: он сочувствовал Жиронде и не любил Робеспьера.

С 1812 года он попечитель Казанского учебного округа. Либеральные порядки, введенные им в Казанском университете, будут искоренять в начале 1820-х годов печально известный Магницкий, ренегат Сперанского. Человек просвещенный, Салтыков дружил со многими из арзамасцев. В 1825 году его дочь Софья Михайловна станет невестой поэта Дельвига, а Пушкин напишет своему другу: «Кланяйся от меня почтенному, умнейшему арзамасцу, будущему своему тестю».

«Выйду ль я на реченьку». Слова этой песни, ставшие народной, принадлежат Нелединскому-Мелецкому, самому пожилому из почетных членов; он родился в середине XVIII века. Старинный друг Карамзина и Дмитриева, Нелединский-Мелецкий был поэтом камерных жанров, интимной лирики, задушевных песен. Пушкин ставил его выше Дмитриева, вровень с любимым Парни.

Иван Иванович Дмитриев, в те годы москвич, на заседаниях «Арзамаса» в Петербурге не присутствовал, да и с шишковистами сам не полемизировал. Но своим воинственным темпераментом он воспламенял московских арзамасцев, особенно молодого, пылкого Вяземского, к боевым действиям. В противовес своему другу Карамзину, который обычно лишь презрительным молчанием задирал своих литературных противников, Дмитриев исповедовал библейскую мораль: око за око, зуб за зуб, эпитаграмма за эпитаграмму.

Олимпийское бесстрашие Карамзина, казалось, должно было отдалять его от арзамасцев, находившихся в самой гуще полемических сражений. На самом деле они испытывали взаимное тяготение. «Арзамас», подобно легендарному Янусу, имел два лица: один — буффонный, пародический, эпитаграмматический, а второй — созидательный, творческий. Своим вторым ликом «Арзамас» был близок Карамзину. Эта близость была обоюдной.

Карамзин — реформатор литературного языка являлся знаменем «Арзамаса».

Карамзин — творец «Истории государства Российского» готовился своим трудом сокрушить «Беседу». Шишковисты обвиняли Карамзина и его приверженцев в небрежении к отечественной культуре. «Истории госу-

дарства Российского» предстояло зачеркнуть эти домыслы.

Арзамасцы устроили в честь Карамзина особое заседание общества и вручили ему, «историографу всея Руси», почетный диплом, «бумажный и бранный символ того, что вечно и нетленно, что писано не на бумаге, а в сердце, не орешковыми чернилами скоротечности, а неизгладимым, нравственным ультрамаринном вечного, сладостного, драгоценного чувства! Примите его, и да послужит он для вас доказательством, что галимаття не всегда рождается от безумия и не всегда глаголет бессмыслицу» (159).

Это был явный намек на второй лик «Арзамаса».

Печатание «Историй» вынудило Карамзина перебраться в столицу. Домик, отведенный для него в Царском Селе, становится пристанищем арзамасцев; он оглашается путками, спорами, чтением стихов Жуковского, Вяземского и самого юного арзамасца — лицеиста Пушкина. Атмосфера арзамасской непринужденности облегчила Карамзину пребывание в Петербурге. Он уже начал принаравливаться к новому образу жизни, когда печальная весть снова вывела его из равновесия: летом 1816 года скончался Державин.

Река времен в своем стремленьи  
Упоит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.

Карамзин медленно шел по дорожке Царскосельского парка и чуть слышно скандировал стих Державина.

«В воскресенье мы обедали в Павловске: никто не сказал мне ни слова о смерти знаменитого Поэта, — писал Карамзин Дмитриеву. — Sic transit gloria mundi!».<sup>3</sup>

Писал о Державине, думал о самом себе. Через полгода, 1 декабря, ему исполнится пятьдесят лет; кто знает, быть может, смерть уже сторожит его за поворотом тенистой аллеи; времени оставалось в обрез.

Он работал с утра до вечера: подготавливал материалы для девятого тома «Историй», правил корректуры первых восьми томов.

<sup>3</sup> Так проходит слава мира! (лат.). — См.: Н. М. Карамзин. Письма И. П. Дмитриеву. М., 1866. стр. 191.

Полтора года напряженного труда — и 2 февраля 1818 года восемь томов «Историй» поступили в продажу.

Пушкин писал позднее: «Появление Истории государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом» (XI, 57).

И далее Пушкин вспоминал о разногласии мнений, об ожесточенных спорах, вызванных «Историей».

Шумные и порой яростные толки быстро дошли до Карамзина. Отвечать на критики он не любил. Как-то «Дмитриев требовал непременно, чтобы Карамзин сам отвечал на книгу Шишкова. Карамзин отговаривался, но наконец дал слово. „Когда привезешь ты мне статью?“ — „Через две недели“.

Карамзин к назначенному сроку привозит ответ на тетради, довольно толстый. Дмитриев совершенно доволен. Карамзин начинает чтение. Дмитриев в полном удовольствии. По окончании чтения Карамзин говорит: „Ну вот видишь, я сдержал свое слово: я написал, исполнил твою волю. Теперь ты позволь мне исполнить свою“. И с этим словом бросает тетрадь в камин».<sup>4</sup>

Отвечать на критики Карамзин не любил. Но теперь случай был исключительный — укоризны задевали самое главное, самое существенное в его творении и в нем самом; на сей раз историограф решил изменить своему обыкновению: он выступил с опровержением — правда, не прямо, а косвенно.

25 сентября Александр Тургенев сообщал Вяземскому: «В воскресенье Жуковский, Пушкин, брат и я ездили пить чай в Царское село и историограф прочел нам прекрасную речь, которую написал он для торжественного собрания Русской академии, по поручению корешкового ее президента».<sup>5</sup>

В те времена в России было два центра науки — Академия наук и Российская академия, позднее, в 1840-е годы,

<sup>4</sup> М. П. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. I. М., 1866, стр. 394—395.

<sup>5</sup> ОА, т. 1, стр. 123.

преобразованная в Отделение литературы и языка Академии наук. Во главе Российской академии стоял адмирал, идейный вдохновитель консервативной «Беседы любителей русского слова» Александр Семенович Шишков, «корешковый ее президент», как иронически именует его А. И. Тургенев.

Противник галлицизмов и прочих иноземных слов и оборотов, Шишков изобретал новые слова при помощи старославянских корней. Зачем заимствовать басурманские «галоши», когда можно говорить «мокроступы»? Его пристрастие к словотворчеству высмеяно в каламбурной эпиграмме Вяземского:

Шишков не даром корнеслов;  
Теорию в себе он с практикою вяжет;  
Писатель, вкусу *шиш* он кажет,  
А логике он строит *ков*.<sup>6</sup>

Посылая историографу приглашение, Шишков полагал, что на заседании будет прочитана речь официальная.

Иное полагал Карамзин: он не будет славить, византийствуя, власти предрержащие, а публично выскажет свои сокровенные мысли. Решение было неожиданным и смелым. Оно требовало безукоризненной отточенности всех формулировок, уместности каждого эпитета, каждого оттенка мысли.

Именно поэтому чтение в Царском Селе показалось Карамзину недостаточным, он ознакомил с речью и других арзамасцев. 12 ноября Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому: «Как скоро Нева совсем станет, Шишков соберет Академию, и Карамзин будет читать свою речь, которую он еще раз вчера прочел нам в присутствии нескольких арзамасцев».<sup>7</sup>

Российская академия помещалась на Васильевском острове; современных мостов тогда не было, а понтонные деревянные мосты на время ледохода снимались. Наконец лед стал. 5 декабря Карамзин прибыл в академию и произнес свою речь.

О просвещенной мудрости Екатерины II и Александра I напомнил историограф; все мирно дремали, как и подобало людям почтенным. Но вот официальный за-

чин кончился, и Карамзин заговорил смело, независимо, решительно. Академики очнулись и насторожились.

«Вы знаете, милостивые государи, что язык и словесность суть не только способы, но и *главные* способы народного просвещения; что богатство языка есть богатство мыслей <...>, что успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человеческого, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве народа, являя степень его образования, ум и чувствительность к изящному»,<sup>8</sup> — говорил Карамзин.

Высокому жребию литературы посвятил он свою речь. «Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств. <...> Если бы греки, если бы самые римляне только побеждали, мы не произносили бы их имени с таким уважением, с такою любовью; но мы пленялись Илиадою, Энеидою, вместе с афинянами слушали Демосфена, с римлянами Цицерона. Побеждали и моголы; Тамерланы затмили бы Фемистоклов и Цесарей; но моголы только убивали, а греки и римляне питают душу самого отдаленного потомства вечными красотою своих творений».<sup>9</sup>

Верховный владыка земли — ум, а не штык, — таков основной тезис Карамзина, тезис, публично провозглашенный им в то время, когда Александр I тщился оградить Европу от революционных потрясений штыками Священного союза.

Полемизировал почетный арзамасец Карамзин и с главой литературных старообрядцев Шишковым.

«Пусть смелые приговоры некоторых критиков осуждают нашу словесность в подражании, утверждая, что она не имеет в себе ничего самородного, особенного; можем согласиться с ними, не охлаждая ревности наших писателей, или не согласиться, доказав неосновательность сего приговора.

Петр Великий, могучею рукою своею преобразовав отечество, сделал нас подобными другим Европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших россиян прервалась навеки. Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы

<sup>6</sup> Ков (*устар.*) — вредный замысел, коварное намерение.

<sup>7</sup> ОА, т. 1, стр. 144.

<sup>8</sup> Сын отечества, 1819, ч. 51, № 1, стр. 4.

<sup>9</sup> Там же, стр. 20—21.

ума и вкуса; участвуем в повсеместном взаимном сближении народов, которое есть следствие самого просвещения. <...> Хорошо писать для россиян, еще лучше писать для всех людей».<sup>10</sup>

С академической кафедры Карамзин бросил арзамаскую «бомбу»; и она взорвалась с таким шумом, что потрясла священные своды Академии.

«„Здесь все для души“, сказал он в четверг бездушной Академии, и голос его отдался в душе арзамасцев, которых заслонял широкопузый Шаховской с тщедушной братиею. Это было торжество не Академии, но Арзамаса, ибо почетный гусь наш, казалось, отделялся от лестных собратий своих, как век Периклов и Александров отделяются от века Лудвига Благочестивого и Батыева.

Все было внимание, и он не произносил речи, но, как жетя, как детей, наставлял своих слушателей с чувством, которое отзывалось в душах наших и оживляло лица. Но бледная зависть и глухая глупость мальчика выразилась в досаде, с которою он сказал самому Карамзину, помнится: «Будет и на нашей улице праздник». Где же его улица? Мы не в Париже, и у нас нет улицы «Невинных». Карамзин отвечал ему дружелюбно.

Другой, услышав слово симпатия, может быть, единственно не русское во всей речи, уходя говорил: «В российской академии — французские слова! Вот до чего мы дожили!» Но, впрочем, большинство на стороне Арзамаса. Даже и сенаторы слушали с умилением.

Я сделал только одно замечание. Не помню по какому поводу, Карамзин сказал: «Ибо и власть самодержцев имеет свои пределы», или что-то подобное. В Европе это почли бы un lieu commun,<sup>11</sup> пошлою истиною; у нас — верно дерзостью, которую вслух говорить опасно. Со временем он citera cela<sup>12</sup> между характеристическими чертами нашего времени, *беременного будущим*.<sup>13</sup>

Александра Ивановича Тургенева поразили смелые по тому времени слова Карамзина: «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского, для

того ли, что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодержцев имеет пределы».

Среди арзамасцев, присутствовавших в Российской академии на речи Карамзина, скорее всего был и Пушкин. Во всяком случае он надолго запомнил триумф Карамзина. Почти полтора десятилетия спустя, 13 ноября 1834 года, Тургенев записал в дневнике:

«Пушкин напомнил мне мои bon-mots: по чтении Карам<зина> в рус<ской> Академии: „Вперед не будет“. — Еще что-то — снова забытое».

Острое словцо Александра Ивановича было сказано по адресу Шишкова, пригласившего Карамзина выступить в академии. Правда, историограф предварительно посылал свою речь Шишкову и получил одобрение его. Сам Карамзин сомневался в том, что одобрение было искреннее. Но как бы там ни было, президент Академии не ожидал такого беспримерного успеха Карамзина. Возможно, что тень неудовольствия проскальзывала по его лицу, вызвав у Александра Ивановича мысль о том, что он «вперед не будет» приглашать историографа на кафедру.

Справедливости ради отметим, что прогноз Тургенева не оправдался. Еще трижды — в 1820, 1821 и 1823 годах — Карамзин выступал в Российской академии, читая отрывки из неопубликованных томов «Истории государства Российского». В последний раз — 14 января 1823 года — ему была поднесена после чтения большая золотая медаль с надписью: «Отличную пользу российскому слову принесшему».

Однако вернемся к речи 1818 года. В своем выступлении Карамзин отвечал, по сути дела, и «молодым якобинцам», которые критиковали монархическую концепцию «Истории государства Российского», и Пушкину, отозвавшемуся резкой эпиграммой на его труд:

В его Истории изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелесть кнута.

Недовольство передовой молодежи Карамзину было известно. Никита Муравьев написал мнение, ходившее по рукам и начинавшееся словами: «История принадлежит народам», в противоположность заключению Карам-

<sup>10</sup> Там же, стр. 13—14.

<sup>11</sup> Общее место (*фр.*).

<sup>12</sup> Будут цитировать это (*фр.*).

<sup>13</sup> ОА, т. 1, стр. 167—168 (из письма А. И. Тургенева от 11 декабря 1818 года).

зина в посвятельном письме: «История народа принадлежит царю».

Критик, из уважения к Карамзину, показал ему свою записку прежде всех. Николай Михайлович предоставил ему сообщать ее кому пожелает.<sup>14</sup> По свидетельству современника, как-то вечером в доме Никиты Муравьева «молодежь рассуждала с хозяином об Истории. Вдруг вошел к ним сам Николай Михайлович, живший в одном доме. Они обратились к нему с своими возражениями».<sup>15</sup>

Спор об истории становился спором о современности. Карамзину было необходимо изложить свою общественную позицию, — речь в Российской академии приплыла как нельзя кстати. Вспомним, что во второй раз в кругу арзамасцев он читал ее в доме Муравьевых. Александр Иванович не писал Вяземскому, кто именно из арзамасцев присутствовал при этом чтении; но, конечно же, арзамасец Никита Муравьев находился в числе слушателей, — ведь чтение происходило в его доме.

Карамзин отвечал нетерпеливым «молодым якобинцам». Своим выступлением он пытался оспорить консервативные выводы, которые ему приписывали. В его речи слышался голос молодого Карамзина, автора «Писем русского путешественника». Карамзин утверждал, что он по-прежнему сторонник европеизации России, что монархические принципы не мешают ему быть просвещенным человеком, «республиканцем в душе».

Пушкин, Никита Муравьев, Николай Тургенев и другие вольнодумцы не могли не понять скрытого подтекста речи Карамзина. Но самого потаенного и они не знали — в своем выступлении историограф возразил самому себе.

«Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо Приказов — Коллегии, вместо Дьяков — Секретари. Та же бессмысленная для Россиян перемена в воинском чиновничестве. <...> Честию и достоинством Россиян сделалось подражание. <...> Россиянки перестали краснеть от нескромного взора мужчин, и Европейская вольность заступила место Азиатского принуждения. Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные: имея множество приятелей, чув-

<sup>14</sup> М. П. Погодин. Николай Михайлович Карамзин... Ч. II. М., 1866, стр. 198.

<sup>15</sup> Там же, стр. 203—204.

ствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия. <...>

Некогда называли мы всех европейцев *неверными*, теперь называем *братьями*; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — *неверным*, или *братьям*? <...> Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петру».

Так писал Карамзин в «Записке о древней и новой России». Он передал ее в начале 1811 года в Твери великой княгине Елене Павловне; она отдала меморандум Александру I. Кроме них, никто эту декларацию Карамзина в те годы не читал. Но сам-то Карамзин хорошо ее помнил. Она была написана в беспокойное время. Надвигались грозные дни схватки с Наполеоном. Ожидание военного конфликта отразилось на мыслях Карамзина.

С тех пор прошло почти восемь лет. Отечественная война 1812 года закончилась победой России. Изменение исторической ситуации возродило проевропейскую позицию Карамзина времен «Писем русского путешественника».

«Жалобы бесполезны», — утверждал он в своей речи; в этом категорическом заявлении — полемика с самим собою, со своими претензиями к Петру I в «Записке о древней и новой России». В сознании Карамзина вновь восторжествовали просветительские идеалы.

Посмертно Карамзина занесли в монархические святцы.<sup>16</sup>

Живой Карамзин был далеко не святой, и именно такого Карамзина знали арзамасцы, знал Пушкин, самый молодой из арзамасцев.

Смуглый отрок бродил по аллеям  
У озерных глухих берегов.  
И столетие мы лелеем  
Еле слышный шелест шагов.

(Анна Ахматова)

Шел декабрь 1815 года; недавно отгремела скандальная премьера «Липецких вод», возник «Арзамас». Пушкин

<sup>16</sup> Подробнее об этом см.: Б. С. Мейлах. Из политической биографии Пушкина после восстания декабристов. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., «Наука», 1965, стр. 427—431; В. Вацуро. «Подвиг честного человека». — Прометей, № 5, 1968, стр. 8—51.

кину не терпелось принять участие в схватке. Он решил переименовать «Видение на берегах Леты» Батюшкова. Пусть Фонвизин отпросится у Плутона посетить грешную землю; пусть сатирик чинит суд и расправу над беседчиками. И вот уже Харон доставил Фонвизина к земным пределам; пезваным является он в гости к братьям по перу.

И ты, славяно-росс надутый,  
О Безглагольник пресловутый,  
И ты едва не побледнел,  
Как будто от Шишкова взгляда;  
Из рук упала *Петриада*,  
И дикий взор оцепенел.  
И ты, попами вскормленный,  
Дьячком псалтири обученный,  
Ужасный критикам старик!  
Ты видел зени грозный лик,  
Твоя невинная другиня,  
Уже поблекший цвет певец,  
Вралих Петрополя богиня,  
Пред ним со страхом пала ниц.

Эти строки из поэмы Пушкина «Тень Фонвизина», в которой поэтам «Беседы», тщетно рвущимся на Парнас, противопоставлен Батюшков, достойный соперник Анакреона и Парни.

Поэма дошла до нас по копии неизвестного лицеиста, с поправками Пушкина (впервые она была напечатана в 1935 году). По-видимому, Пушкин не захотел пустить ее по рукам и ограничился тем, что ознакомил с нею лишь своих лицейских друзей. Ведь в поэме осмеяна также длинная и вялая ода Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества». А вдруг до старого поэта, который отнесся к Пушкину так тепло и сочувственно, дойдут слухи о сатире? Он не хотел быть неблагоприятным. С беседчиков хватит и хлесткой эпиграммы.

Угрюмых тройка есть певцов —  
Шихматов, Шаховской, Шишков,  
Уму есть тройка супостатов —  
Шишков нанц, Шаховской, Шихматов.  
Но кто глупей из тройки злой?  
Шишков, Шихматов, Шаховской!

В Царском Селе лениво тянулись уроки. В Петербурге неслась арзамасская галиматья. Всеми своими помыслами Пушкин стремился в столицу.

27 марта 1816 года. Из Царского Села в Москву. Петру Андреевичу Вяземскому.

«Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей Российского Слова. <...> Любезный арзамасец! утешьте своими посланиями — и обещаю вам, если не вечное блаженство, то по крайней мере искреннюю благодарность всего Лицея.

Простите, князь — гроза всех князей-стихотворцев на Ш» (XIII, 3).

Кантемир — князьям на Ш.  
Я взял весь ум Князей и авторам Князьям,  
Царяпрадедам моим по прозе и стихам,  
Ни капельки не дам.

Так по-арзамасски почтили беседчиков князей Шаховского и Ширинского-Шихматова в рукописном лицейском журнале. Не исключено, что эта анонимная эпиграмма написана Пушкиным.

Добрым предзнаменованием явился для Пушкина переезд в Царское Село Карамзина; племянник Василия Львовича становится постоянным посетителем домика историографа в Китайской деревне; здесь он знакомится и с другими арзамасцами.

Осенью 1816 года Пушкин пишет послание к Жуковскому; под посланием подпись — Арзамасец.

У него еще нет балладной клички, его еще не приняли по всем правилам в «Арзамас», но он уже чувствует себя членом общества; в каждой строке послания — боевой арзамасский задор.

Под грозною Парнасскою скалою  
Какое зрелище открылось предо мною?  
В ужасной темноте пещерной глубины  
Вражды и зависти угрюмые сыны,  
Возвышенных творцов Зоилы записные  
Сидят — Бессмыслицы дружины боевые.

(«К Жуковскому»)

На Парнасе — истинные писатели, арзамасцы; в пещере под парнасской скалой — лже-писатели, зоилы, беседчики. Аллегория точна и беспощадна. Перед нами поэтический «перевод» речи Дашкова, который сравнивал

«Беседу» с кладбищем: «Вокруг печальные кипарисы простирают мрачную сень свою на мшистые кресты и камни, свидетельствующие о суете мира сего. Здесь навсегда погребены усопшие чада Беседы и сыны чад ее с усопшими их творениями, здесь, в первую стражу ночи, уныло бродят их призраки, и бледная дочь Хаоса, Славена, восседит на истлевших памятниках, насупя взоры свои, или оплакивает разврат не внимающего ей мира и близкое свое падение» (92).

Пушкин не читал в то время протоколов «Арзамаса», и тем не менее он проникся стихией пародирования, которая царилла в этом литературном содружестве. Он-то знал, как следует воевать под арзамасскими знаменами.

Послание адресовано Жуковскому, но обращено ко всем арзамасцам, призывает их «разить дерзостных друзей непросвещенья». Непросвещенье — термин политический, синоним «невежества», «тьмы», «обскурантизма». Лицейст Пушкин знал, как шельмовать тех, которые клеймили врагами отечества и сеятелями разврата поборников просвещения, арзамасцев.

Пускай беседуют отверженные Феба;  
Им прозы, ни стихов не послан дар от неба.  
Их слава — им же стыд; творенья — смех уму;  
И в тьме возникшие низвергнутся во тьму.

(«К Жуковскому»)

Все сильнее становились удары молодого Пушкина. В письме к дяде Василию Львовичу племянник вызывал его на новые полемические схватки с беседчиками:

Христос воскрес, питомец Феба!  
Дай бог, чтоб милостию неба  
Рассудок на Руси воскрес;  
Он что-то, кажется, исчез.  
Дай бог, чтобы во всей вселенной  
Воскресли мир и тишина,  
Чтоб в Академии почтенной  
Воскресли члены ото сна;  
Чтоб в наши грешны времена  
Воскресла предков добродетель;  
Чтобы Шихматовым на зло  
Воскреснул новый Буало —  
Расколов, глупости свидетель...

Дядя, «Нестор Арзамаса», с восторгом перечитывал стихи племянника. Давно ли он водил его по Москве,

не успел оглянуться, как племянник стал литературным бойцом. Жуковский, Батюшков, Вяземский, Давыдов пророчат ему неслыханный успех. «Если этот чертенок так размашисто будет пагать и впредь, то кому быть на Парнасе дядей, а кому племянником?» — острил Вяземский.

«В письме Вашем Вы называли меня братом, но я не осмелился назвать Вас этим именем, слишком для меня лестным, — писал Пушкин Василию Львовичу в декабре 1816 года.

Я не совсем еще рассудок потерял  
От рифм бахических — шатаюсь на Пегасе —  
Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад.  
Нет, нет — вы мне совсем не брат;  
Вы дядя мой и на Парнасе».

(XIII, 5)

Своими стихами дяде Пушкин отвечал арзамасцам, которые постоянно шутили над Василием Львовичем, отвечал Карамзину, который своей холодной иронической улыбкой молчаливо поощрял насмешки над арзамасским старостой Блудова, Уварова и иже с ними...

По выходе из Лицея Пушкина по всей форме при-  
мут в «Арзамас» и нарекут Сверчком.

С треском пыхнул огонек,  
Крикнул жалобно Сверчок,  
Вестник полуночи.

(В. А. Жуковский,  
«Светлана»)

«Я не спросил тогда, за что его назвали Сверчком, — вспоминал Ф. Ф. Вигель, — теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спря-  
танный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже по-  
давал он оттуда свой звонкий голос».<sup>17</sup>

Венец желаниям. Итак я вижу вас,  
О други смелых муз, о дивный Арзамас...  
Где славил наш Тиртей кисель и Александра,  
Где смерть Захарову пророчила Кассандра.

<sup>17</sup> Вигель, т. 2, стр. 112.

Александрийскими стихами приветствовал Пушкин арзамасцев. Стихотворная речь его затерялась. Лишь четыре строки сохранились в памяти слушателей.

Это торжественное событие — арзамасское совершеннолетие Пушкина — наступит осенью 1817 года; пока же на дворе еще год 1816-й, и пора нам вернуться к «арзамасским гусям», которые после трехмесячных «каникул» собрались на свое пятнадцатое заседание; это случилось 11 ноября 1816 года.

Принимали в члены «Арзамаса» Дмитрия Александровича Кавелина, товарища Жуковского, Дашкова и Александра Тургенева по Московскому университетскому пансиону, директора Главного педагогического института. Арзамасцы не знали, что вскоре Кавелин станет ренегатом: назначенный в 1819 году ректором Петербургского университета, он примет сторону мракобесов Магницкого и Рунича в их походе против передовой профессуры; он станет утверждать, что политическую экономию должно основывать на Священном писании. «Я предложу выключить его формально из Арзамаса», — напишет весной 1821 года Александр Тургенев, сообщая Вяземскому о «подвигах» Кавелина.

Может быть, следовало бы предать забвению имя этого пришлого арзамасца, если бы не знаменательные обстоятельства, сопутствовавшие его появлению в обществе.

На пятнадцатом заседании «Арзамаса» Уваров объявил, что исконный враг их общества сокрушен и уничтожен: «Против кого брали мы тогда оружие? Против Беседы — а Беседы уж нет. Она осиротела, рассеялась и даже отдана в наймы за 10 тысяч рублей (я говорю о здании: за членов, увы! ничего не дают). Нельзя самому Арзамасу не пожалеть о такой превратности судеб! Где, где дьячки-ораторы? Где поэты-усыпители? Куда девалась шайка неугомонных сотрудников? — Я вижу, как они, с поникшими головами, медленно выступают из обители прежней славы. <...> Все наполнены гневом; все рыдают, все твердят: Горе нам! Горе Беседе!» (179).

При «отпевании» «Беседы» впервые присутствует на заседании общества будущий арзамасец и декабрист Николай Тургенев. Происходит столкновение двух начал — стихии литературной и политической. Правда, протокол заседания на сей предмет молчит; зато об этом красноречиво говорит дневник Николая Тургенева. На заседании

«Арзамаса» между Карамзиным, Блудовым и другими арзамасцами возникла беседа о политическом положении России: «Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время», — со свойственной ему точностью суждений записал Николай Тургенев.

Именно на этом переломе в истории «Арзамаса», при пылких речах Николая Тургенева, принимают в общество будущего ренегата, который сейчас полностью становится на его сторону.

«Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишней, — писал Ф. Ф. Вигель. — Жуковский наименовал его «Пустышником». Безразличность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт».<sup>18</sup>

Во «Втором послании цензору» (1824) Пушкин презрительно обронит строку о «Кавелине-дурачке» — большего он и не заслуживал.

В декабре 1816 года, после восьмимесячного отсутствия, вернулся из Дерпта Жуковский; 24 декабря состоялось 16-е заседание «Арзамаса»; оно прошло под знаком Светланы.

В своей речи Жуковский остроумно пересказал события, волновавшие арзамасцев во время его отсутствия, и затем покаянно заявил: «... имею честь донести вашим превосходительствам, что я не исполнил вашего священного препоручения написать законы арзамасские! И причина тому самая простая: почитаю беззаконие более для нас выгодным! Легко случиться может, что, написав законы, мы будем поступать в противность тому, что напишем! Это почти неизбежно! Не лучше ли подчинить себя беззаконию и поступать в противность беззаконию. Это вернее! Впрочем, ваша воля. Написать недолго. Стоит вам только приказать, и я удружу вашим превосходительствам такими законцами, что вы не опомнитесь!» (185—186).

<sup>18</sup> Там же, стр. 102.

В словах Жуковского — отголоски жаркого спора, возникшего еще на одном из первых заседаний «Арзамаса». Жуковский, как мы помним, горой стоял за буффонаду; Уваров, Блудов и Дашков выступили против единовластия буффонады. Время не притузило расхождений.

Сочинить арзамасские законы поручили Жуковскому еще на организационном заседании общества. Но не тут-то было! Мысль о законах ему не улыбалась; и хотя, по его словам, сии законы «написать недолго», он упорно и долго уклонялся от возложенной на него обязанности; он предпочитал «беззаконную» буффонаду.

Из Дерпта Жуковский привез новые стихи и поразил ими арзамасцев:

«1-е. Очаровательный „Овсяный кисель“, который члены единодушно провозгласили райским кремом.

2-е. Гекзаметрическая сказочка о том, как черт, играя в карты, выигрывает душу; их превосходительства, выслушав эту сказочку, сказали в один голос: мы никогда не будем играть в карты! Это непохвально!

Наконец, 3-е. Повесть о том, как некоторый Вадим влюбился во сне и женился на яву с помощью серебряного звонка, легкого челнока и седого старика. Всем не женатым членам, по выслушании этой повести, смертно захотелось жениться» (182).

Так потешался Жуковский над арзамасцами и собственными стихами, так словесная клоунада придавала буффонское обличение и серьезным занятиям общества.

Жуковский последовательно отстаивал буффонаду. Между тем все громче раздавались голоса: не буффондой единой жив Арзамас!

«В Арзамасское общество безвестных людей от члена Старушки.

Донесение.

Небезизвестно почтенному Арзамасу, что я показал главной целью моего путешествия желание поклониться трактиру, в котором наше Общество приняло свое начало, просидеть за тем ветхим столом, вокруг которого мы собирались в беспечные дни нашей молодости, и еще раз увидеть ту перегородку, которая отделяла от нас беснующего, тучного путешественника, прокричавшего некогда нам ту славную реляцию, о которой и ныне сыны Беседы с трепетом между собой шепчут. Но, увы! Мои предчувствия, почтенные арзамасцы, сбылись! Нет более

Арзамаса в Арзамасе! Мрак академический покрыл любезную нашу родину: трактир лежит в развалинах. <...> Жители древнего Арзамаса в глубоком невежестве не ведают ни о наших сражениях, ни о нашей славе и, упрямо ссылаясь на адрес-календарь, утверждают, что Мешков управляет и государством и Парнасом. <...>

Погруженный в печальную думу, пошел я на берег Тёшы и с высокого, деревянного моста глядел на ее тихие струи, как вдруг необыкновенное движение в воде обратило на себя мое внимание: в двенадцати шагах от меня стоял в воде до поясицы статный старец, с белою, мохом увитою бородой. Он держал в одной руке жезло, другою рукою приветствовал меня. Быстрый взор, сардоническая улыбка, величественный вид сказали мне, что это старец реки Тёшы. Я с умилением ему поклонился; он приближался ко мне и, опираясь на жезло, прожурчал следующее:

„Гуси! Гуси! Кто вас не любит? Да долго ли вам беситься? Царство Литературы почти в ваших руках. Когда перестанете вы топить в моих чистых струях карликов Беседы и Академии? Давно уже не стало их бумажных тронов, их свинцовых скипетров, их мишурных корон! Перестаньте с ними возиться! Какой черт вас с ними связал! Похвально было показать свету, что они глупцы, но на сие довольно собственных их сочинений. Похвально было согнать с Парнаса нестерпимую толпу лжегениеев; но она давно уже рассеялась под вашими ударами. Чего же вам более? Но должны ли вы довольствоваться сими жалкими трофеями?

От вас я ожидаю более; я ожидаю возобновления отечественной литературы; я ожидаю торжества разума и вкуса. Спасайте их, как некогда ваши предки спасали Капитолий; ныне не один Бренн им угрожает; полчища уродливых Бреннов, с *гасильниками* в руках, стремятся погасить ту бедную искру человечества и рассудка, которую я поручил в ваше попечение. *Хамы* овладели и Парнасом и губернским правлением; они двигаются и на вахт-параде, и в передних министрах; они подчас являются в лубочной комедии, подчас и в комитетах чело-векотлюбивого общества.

*Числа им нет, дружины их крылаты.*

Пора им эти крылья обрезать! Пора пробить их густой центр! Пора испугать их светом Разума, разогнать

их скопица торжественным объявлением войны продолжительной и смелой! Тогда я с радостью буду издали внимать кликам вашей победы и с гордостью признавать вас за моих сынов, за истинных Гусей Арзамасских!.. «».<sup>19</sup>

Уваров писал решительно и энергично. В кругах передовых людей России «хаммами» и «гасильниками» называли в те годы крепостников и ретроградов. Именно против них ополчился призывал Уваров арзамасцев.

«Арзамас» встречал Новый год — год 1817-й — в преддверии крутых перемен.

И перемены не заставили себя долго ждать. В стране начиналось движение декабристов, и его пути пересеклись с путями «Арзамаса».

Прихрамывая, на заседаниях общества появляется помощник статс-секретаря Государственного совета Николай Тургенев; высокий пост не повлиял на его убеждения: он остался либералистом.<sup>20</sup>

24 февраля 1817 года Николай Тургенев, нареченный Варвиком, произносит вступительную речь. Таких речей еще не слышали в «Арзамасе»!

Варвик обрушился на сервиллизм, царивший в Публичной библиотеке. Арзамасцы были не в ладах с Олениным, бессменным директором библиотеки, но осмеивать его за благонамеренность никому из них не приходило в голову.

Досталось и Гречу, издателю «Сына отечества», написавшему для торжественного собрания Публичной библиотеки «так называемое обозрение так называемой литературы российской 1816 года».

Кто не помнил в те годы смелые монологи Фигаро из «Севильского цирюльника» Бомарше?

«В Мадриде я понял, что область литературы есть в сущности владение волков, вечно друг против друга вооруженных; я там ясно увидел, что, заслужив своим смешным остервенением всеобщее презрение, все эти букашки, мошки, комары, москиты, все эти критики, завистники, газетчики, книгопродавцы, цензора — словом все, кто впиваются в шкуру несчастного литератора, все

рвут его на клочья и высасывают из него последние соки».

Эту темпераментную тираду Фигаро вспомнил Варвик, слушая обозрение Греча: «Тут вздумал я: не в том ли смысле господин Сын отечества говорит о нашей свободе книгопечатания, как Фигаро о испанской? Но нет! Патриотические рассуждения Сына Отечества скоро заставили меня отклониться от сего сравнения, конечно для одного из сравниваемых лиц обидного» (193).

Конечно, сравнение Фигаро с Гречем было не в пользу последнего; конечно, подобное сравнение могло показаться обидным веселому и бесстрашному герою комедии Бомарше.

Сам же Варвик продолжал речь с неукротимой решительностью Фигаро: «Я невольно вспомнил о том, как не только у нас, но и во всей Европе, приятными наименованиями стараются покрывать наготу деспотизма и порока. Давно уже прямодушные люди не верят словам, сопровождаемым эпитетом благоразумия, а под благоразумным человеком разумеют эгоиста, под благоразумным поведением — тонкое, часто подлое поведение, под благоразумием цензуры — благоразумие полиции» (193—194).

Будь жив Бомарше и прочти он гневные, иронические реплики Варвика, просиял бы от удовольствия автор «Севильского цирюльника»: слова Николая Тургенева превосходно дополняли монолог Фигаро.

Да, таких речей еще не слышали в «Арзамасе»!

«Лицо его пылало огнем геройства, и голова, казалось нам, дымилась как Везувий» (190), — записано Блудовым в протоколе заседания.

Умный, гордый и честолюбивый, он покорял слушателей резкостью точных формулировок, бесстрашной диалектикой мысли, фанатическим накалом свободолюбивых убеждений.

«Определенный в службу по иностранной коллегии, Николай Тургенев получил бессрочный отпуск и отправился в Геттинген, когда все немцы кипели справедливым, но тайным гневом на истребителя не только независимости их, но и самого названия Германия. <...> В университетах сильнее других профессора и студенты томилась жаждаю свободы и горели желанием мести. Среди тайных заговоров созрел и возмужал наш Тургенев... <...> он был рожден, чтобы властвовать над сла-

<sup>19</sup> Русская старина, 1899, май, стр. 339—340.

<sup>20</sup> В письмах и дневниках Н. И. Тургенева слово «либералист» является синонимом вольнодумца.

быми умами. Сколько раз случалось мне самому видеть военных и гражданских юношей, как Додонский лес, посещающих его кабинет и с подобострастным вниманием принимающих непонятные для меня слова, которые, как орacula, падали из уст новой Сивиллы. <...>

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами, был он принят в «Арзамас» как родной, и, кажется, ему самому в нем полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие привычки. В нем не было ни спеси, ни педантства; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца «Варвика». Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из нас серьезно не может разделять их, не думал за то досадовать.<sup>21</sup>

Мемуарист неправ: конечно же, Николай Тургенев досадовал — и весьма досадовал, — что арзамасцы настроены не столь решительно, как он сам. Но один в поле не воин! Надо было собирать силы против деспотизма, и пренебрегать арзамасцами казалось ему расточительной глупостью. Он надеялся, что его речи взбудоражат умы и направят усилия арзамасцев в то русло, которое желательно ему, человеку великой твердости и властной настойчивости.

Да, таких речей не слыхивали в «Арзамасе». А вскоре там услышали и не такие речи!

22 апреля 1817 года мощная фигура Михаила Орлова появилась в «Арзамасе», и в тот же день он стал членом общества под кличкой Рейн. Орлов был смелым, энергичным человеком, сделавшим блестящую военную карьеру.

В одной из батальных сцен «Войны и мира» Лев Толстой запечатлел подвиг русских гвардейцев:

«Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев-людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакав-

ших мимо его, после атаки осталось только осмнадцать человек».

Одним из восемнадцати уцелевших кавалергардов был юнкер Михаил Орлов; за кровавое крещение при Аустерлице он получил офицерский чин.

Девять лет спустя флигель-адъютант Александра I, генерал-майор Орлов, парламентар союзных войск, принимал капитуляцию Парижа.

Фортуна улыбалась самому молодому генералу русской армии; вот уже полвека, как фортуна благоволила роду Орловых.

Мой дед, когда мятеж поднялся  
Средь петергофского двора,  
Как Миних, верен оставался  
Паденью третьего Петра.  
Попали в честь тогда Орловы,  
А дед мой в крепость, в карантин.

Так напишет Пушкин в «Моей родословной» о своем деде Льве Александровиче Пушкине и об Орловых, дядях и отце Михаила Федоровича. В день дворцового переворота 1762 года они оказались в разных станах.

Братья Орловы решительно взяли сторону супруги Петра III; они не колеблясь прибегли к удавке и быстро задушили царя. Бравые гвардейцы, они возвели на трон Екатерину II. И сразу же род Орловых вышел на авансцену русской истории.

Их было пятеро братьев, получивших графское достоинство и чины: генерал-аншеф Алексей Григорьевич; генерал-аншеф Григорий Григорьевич, фаворит Екатерины II; директор Академии наук, генерал-поручик Владимир Григорьевич; капитан Иван Григорьевич; генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената Федор Григорьевич.

Что слышу я? Орел из стаи той высокой,  
Котора в воздухе плыла  
Впреди Минервы светлоокой,  
Когда она с Олимпа шла;  
Орел, который над Чесмою  
Пред флотом россиян летал,  
Внезапно, роковой стрелою  
Сраженный, с высоты упал.

Так писал Державин весной 1796 года перед гробом Федора Орлова, героя морского сражения с турками при Чесме.

<sup>21</sup> Вигель, т. 2, стр. 105—107.

Строки Державина не спасли Федора Григорьевича от забвения, — яркие фигуры братьев Алексея и Григория затмили его в глазах потомства.

Федор Орлов был убежденным холостяком. Но ошибся бы тот, кто заподозрил бы его в монашеском образе жизни. У него было четыре сына, как на подбор рослые, статные, мужественные. Он успел перед смертью узаконить их, передал им имя свое и состояние; лишь графский титул не достался им.

От богатырского корня появился на свет Михаил Федорович Орлов. В его мужественном облике проступали черты его знаменитых дядей, отличавшихся в молодости непомерной физической силой и необузданным нравом.

Михаил Орлов стал декабристом. Правда, с 1820 года, когда отклонили его «неистовые меры» — устройство тайной типографии для печатания антиправительственных сочинений и фальшивых ассигнаций, — он отошел от революционной организации. Но своим убеждениям он, конечно, не изменил. Николаю I следовало благодарить господа бога за то, что 14 декабря 1825 года Михаил Орлов находился в Москве, а не в Петербурге. Будь он в столице, ему, стороннику крутых мер, поручили бы военное руководство восстанием. И он, надо думать, сумел бы склонить успех на сторону декабристов.

Николай I знал породу Орловых, понимал, что Михаил Орлов не проявил бы нерасторопности и мягкосердечия, что он не задумался бы прибегнуть к удавке, которая в свое время так пригодилась Орловым в 1762 году. И тем не менее царь не мог загнать его в каторжные норы Сибири. Алексей Орлов, старший брат, своими решительными действиями на Сенатской площади спас российский престол; ему, своему спасителю, Николай I не сумел отказать: Алексей Орлов на коленях вымолил прощение брату. Михаила Орлова сослали в собственное имение, а затем разрешили жить в Москве, под надзором полиции.

Так будет потом, а пока Михаил Орлов переступает порог «Арзамаса» и произносит вступительную речь свою; он резко критикует русские журналы, которые в состоянии «отвратить и от самого свободомыслия, ежели бы что-нибудь могло уклонить честного человека от полезных занятий». Такое положение нетерпимо, — вот к чему клонил свою речь Орлов.

«Итак, обращаюсь я с радостью к скромному молчанию, ожидая того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему обществу цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране русской. Тогда-то Рейн, прямо обновленный, потечет в свободных берегах Арзамаса, гордясь нести из края в край, из рода в род, не легкие увеселительные лодки, но суда, исполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности. Тогда-то просияет между нами луч отечественности и начнется для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный призм предрассудков за пределы Европы» (209—210).

За этой витиеватой фразеологией, — Орлов стилизовал свою речь под замысловатые арабески арзамасских выступлений, — скрывалась мысль о преобразовании общества.

Речь Рейна не застала арзамасцев врасплох; он высказал то, что их всех волновало. Им было известно, что Орлов приехал в Петербург из Москвы, где он встречался и коротко сблизился с Вяземским. Неодобрительный отзыв Орлова о русских журналах уже был пересказан Вяземским в письме к Блудову, отправленном в январе 1817 года.

В том же письме Вяземский советовал столичным арзамасцам взяться за ум: «Право, надобно бы Арзамасу выдавать журнал не на живот, а на смерть. Никогда литература не была у нас в подобном *положении*: она лежит в растяжку, пора приподнять ее на ноги. <...> я хочу, чтобы пруд нашей словесности преобразился бы в проточную воду, и думаю, что хороший журнал мог бы сделать теперь желаемую перемену, и уверен, что такой журнал должен непременно издаваться в Арзамасе».<sup>22</sup>

Вслед за письмом Вяземский пишет пространный мнение «по поводу предполагаемого арзамасского журнала». Прочтем же в извлечении мысли Асмодея.

«Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина. Первый был бичом предрассудков: бичом немного жестким и отзывающимся грубостью тогдашнего времени. Карамзин в „Московском журнале“ разрушил готические башни обветшалой литературы и

<sup>22</sup> Гиллельсон, стр. 369.

на их развалинах положил начало новому европейскому зданию, ожидающему для совершеннейшего окончания искусных трудолюбивых рук. <...>

Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов и разделить издание на три разряда: Нравы, Словесность и Политика.

В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям, объявившим <?> картину нашего общества. Нападать на это есть уже действительная дань, приносимая добру.

Во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии; но вместе с тем, отучая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу разрушающую и созидательную.

В политике довольствоваться простодушным изложением полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*, изложением распрей *политического света* о предметах важных в государственном устройстве, и таким образом сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч солнца, сияющего на горизонте просвещенного света, и озарить мрак зимней ночи, обложившей нашу вселенную» (240—241).

Речь Орлова и записка Вяземского — близнецы; оба арзамасца призывали друзей своих сплотить совместные усилия на журнальном поприще.

С ответом Орлову выступил Северин: «О дивное влияние арзамасской атмосферы! Ей все возможно: она соединяет всех и все; сближает времена и народы; в ней жители древней Трои наяву обнимают спящую Эолову Арфу и с восхищением встречают красу германских рек, отныне ставшую любимой дочерью Арзамаса!» (210).

Орлов ждал не дифирамбов, а достойного ответа на свою речь; мурлыканье Резвого Кота казалось ему неуместным. Не пора ли под покровом галиматии говорить о серьезных материях?

«Сонное мнение члена Эоловой Арфы, провозглашенное устами пупка его в исходе 20-го Арзамаса» (220).

Блутов говорил от имени Александра Тургенева.

«... мое тело спит, душа моя бодрствует; она продолжает сказанное Рейном. О, Арзамас! Не полно ль быть ребенком?».

«Я вижу ваше, наше будущее, — глаголила Эолова Арфа устами Кассандры. — Я вижу Арзамас в величественном собрании. Он определяет образ занятий, общий для всех, но разнovidный как вкусы, труды, таланты каждого. *Единство и разнообразие*: вот девиз Арзамаса и журнала его. <...>

Мужайтесь, сыны Арзамаса! Докажите злоречивому свету, что не все журналисты поденщики, что можно трудиться для пользы и чести, не для корысти, и что в руках благоразумия некогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие Арзамаса да будет медленно, но мирно и благотворно» (221—223).

Орлов придерживался другого мнения; он не собирався записываться ни в миротворцы, ни в кунктаторы. Он, с молодых лет надевший военный мундир, знал, что промедлением проиграно не одно сражение. Впрочем, как пойдут дела в «Арзамасе», покажет будущее. Главное сейчас в том, что арзамасцы готовы принять решение об издании журнала.

И решение было принято; присутствовавшие стали подписываться под «сонным мнением Эоловой Арфы».

«Согласен с мнением Брюха — Старушка  
Согласен за себя и за всех детей своих — Громобой  
Согласен с мнением Брюха — Почетный гусь Михаил  
— Варвик  
— Пустынник  
— Асмодей  
— Рейн  
— Ивиков Журавль  
— Светлана

С подлинным верно: Эолова Арфа  
Согласен с мнением, но прибавляя к оному сомнение:  
Кассандра» (223).

Сомнение Кассандры оказалось пророческим!

Но не будем забегать вперед, а познакомим пока читателей с капитаном гвардейского Генерального штаба, одним из основателей Союза Спасения, первой тайной организации декабристов, Никитой Муравьевым.

Он был сыном Михаила Никитича Муравьева, того самого, о котором мы мельком говорили в нашем прологе.

Михаил Никитич не принадлежал к аристократической фамилии. Его предки, новгородские «боярские дети», верой и правдой служили московским государям. Но выдающимися способностями они не отличались и особых наград не заслужили; родовые поместья их ютились на малодоходных северных землях.

Так и прожил бы Михаил Никитич помещиком скромного достатка на задворках Новгородской губернии, если бы не удачная женитьба его на Екатерине Федоровне Колокольцевой, девушке умной и к тому же богатой. Избранница его была дочерью откупщика и сенатора Федора Михайловича Колокольцева. Владелец миллионного состояния, владелец десятков тысяч десятин и нескольких тысяч душ крепостных, акционер Северо-Американской компании, Колокольцев не поскупился на приданое. Захудалый дворянин Муравьев сразу стал богатым человеком, а его дом — одним из приятнейших в столице; на хлебосольные праздничные обеды собиралось до сотни гостей.

Михаил Никитич умер в 1807 году. Бразды семейного правления очутились в руках Екатерины Федоровны; она успешно хозяйничала и воспитывала двух сыновей — Никиту и Александра.

Дворянская традиция, эпикуреизм отца, знатока античности, человека просвещенного и гуманного, столкнулись с духом буржуазного предпринимательства деда — эти две разнородные стихии определили общественные взгляды Никиты Муравьева.<sup>23</sup> Кто знает его биографию, тот не удивится тому, что в его конституционном проекте — в этой кормчей книге северных декабристов — многие параграфы написаны по образцу западноевропейских и североамериканских конституций.

Никита Муравьев сражался в рядах русской армии с Наполеоном. В побежденном Париже судьба свела его с видными деятелями французской революции — Слесом и Грегуаром. «Встреча с Брутом и Катилиной не более бы поразила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из гробов восстав-

<sup>23</sup> Подробнее об этом см.: Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., изд. Политкаторжан, 1933.

ших, дабы вещать им истину. Все это сильно подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неопытный ум Муравьева: он сделался отчаянным либералом».<sup>24</sup>

Пушкина влекли такие люди. Он искал встреч с ними, запоминал их облик, черты характера. В «Русском Пеламе», задуманном им романе, должен был появиться, — конечно под вымышленным именем, — Никита Муравьев.

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты...

Так напишет Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина» о сходках декабристов у Никиты Муравьева.

Между тем в доме Муравьева бывал и иной круг лиц; там часто собирались арзамасцы. Пусть они встречались там по-домашнему, пусть эти вечера не заносились в протоколы общества; и все-таки эти застольные беседы сблизили Никиту Муравьева с арзамасцами. А когда к обществу примкнули его единомышленники Николай Тургенев и Михаил Орлов, то пробил и его час: он стал арзамасцем, под именем Адельстан, летом 1817 года.

Никита Муравьев горячо поддержал мысль о возрождении «Арзамаса» на новых началах...

В глубокой задумчивости сидел Жуковский на заседаниях «Арзамаса». Ему было ясно: буффонаде, милой сердцу его, бесповоротно приходит конец. На него, секретаря Светлану, упорно наседали со всех сторон; дальше он не в силах был сопротивляться могущественной коалиции старых и новых арзамасцев. Подумать только, даже молчаливая Эолова Арфа вступила с ними в союз.

В июне арзамасцы снова собрались вместе; продолжались оживленные толки о журнале общества. Жуковский сидел с отрешенным взглядом; он не участвовал в пререканиях, отвечал скупой и тихо, типично обычного.

Когда-то арзамасцы с восторгом слушали галиматью; теперь она им не по душе. Жуковскому стало обидно, и он решил вступить за галиматью, описать буффонским гекзаметром вавилонское столпотворение мнений.

<sup>24</sup> Вигель, т. 2, стр. 110—111.

Полно тебе, Арзамас, слоняться бездельником! Полно  
Нам, как поргным, сидеть на катке и шить на Халдеев,  
Сгорбься, дурацкие шапки из пестрых лоскутьев беседных.

Забава удавалась на славу. Мелкие круглые буквы  
быстро покрывали листки бумаги. Жуковский оседлал га-  
лиматью, и она безудержно несла его во весь опор. Во-  
ображение, прищипоренное обидою, погоняло его перо.

Тут осанистый Рейн, разгладив чело, от власов обнаженно,  
Важно жезлом волшебным махнул, и явилось нечто  
Пышным вратам подобное, к светлому зданию ведущим,  
Звездная надпись сияла на них: *Журнал Арзамасский*.

И все арзамасцы,

Пламень почуя в душе, к вратам побежали.. Все скрылось!  
Рейн сказал: «Потерпите, голубчики! Я еще не достроил!  
Будет вам дом, а теперь и ворот одних вам довольно!».

Последнюю строку Жуковский вывел особенно тща-  
тельно; ему было приятно поддеть строптивых прияте-  
лей.

Сели опять по местам, и явился, клюкой подпираясь,  
Сам Асмодей; погонял он бичом мериносов Беседы.  
Важен пред стадом тащился старый баран, волочивший  
Тяжкий курдюк на скрипящих колесах, Шишков седорунный,  
Рядом с ним Шутовской, овца брюхатая, охал!  
Важно вез позади осел Голенищев-Кутузов  
Тяжкий с притчами воз; а на козлах мартышка  
В бурке, граф Димитрий Хвостов, тряслась и, кобенясь на дышле,  
Скромно висел в чемодане домашний тушканчик Вдыхалов.

На заседании все происходило всерьез; в стихотвор-  
ном протоколе пенилось веселие, брызгали шутки, ис-  
крились насмешки.

Стадо загнавши, воткнул Асмодей на вилы Шишкова,  
Отдал честь Арзамасу и начал китайские тени  
Членам показывать. В первом явлении предстала  
С кипой журналов *Политика*, рот зажимая Цензуре,  
Старой кокетке, которую тощий гофмейстер Яценко  
Вежливо под руку вел, вестерпимый дух издавая.  
Вслед за Политикой вышла *Словесность*. Платье богини  
Радужным светом сияло, и следом за ней ее дети:  
С лирой, в венке из лавров и роз, *Поэзия*-дева  
Шла впереди; вокруг нее, как крылатые звезды, летали  
Светлые пчелы, мед свой с цветов и чужих, и домашних  
В дар ей собравшие; об руку с нею поступью важной  
Шла благородная *Проза* в длинной одежде; смиренно

Хвост ей несла *Грамматика*, старая нянька (которой,  
Сев в углу на словарь, Академия делала рожи).

Третья дочь словесности *Критика*, с плетью, с метелкой  
Шла, опираясь на Вкус и на смелую Шутку; за нею  
Князь Тюфякин<sup>25</sup> нес на закорках театр и нещадно  
Копьями секли его Пиериды, твердя: Не дурачься!  
Смесь последняя вышла...

Кроить из серьезной материи шутовские наряды —  
как это было по душе Жуковскому!

Арзамасцы искренно веселились; одной рукой Свет-  
лана нанизывала потешные строки, другой — важно и  
чинно писала план арзамасского журнала.

За июль—октябрь намечено было заготовить мате-  
риалы для четырех номеров; журнал должен был выхо-  
дить с 1 января 1818 года; предполагалось выдавать  
12 книжек в год.

«Для издания надлежит получать избранные жур-  
налы: немецкие, французские и английские, как полити-  
ческие, так и литературные. Чтобы все пошло удачно,  
надобно, чтобы журнал был официальный — это нужно  
как для получения беспрепятственно журналов, так и для  
печатания и для безопасности от цензуры».<sup>26</sup>

В списке почетных арзамасцев, написанном рукою  
Блудова, значился, как мы помним, граф Каподистрия,  
статс-секретарь по иностранным делам, лицо первосте-  
пенное в этом министерстве. Имя его всплыло во время  
споров о журнале. На черновике стихотворного прото-  
кола Жуковского, наверху первой страницы, написан  
план его: «Слава. Связь. Работа. Беседа. Пир. Шум в Ар-  
замасе. Рейн храм. Асмодей. Спор. Результат. План.  
К«апо» д'Истрия. Забито».<sup>27</sup>

В стихотворный протокол имя Каподистрия, или по  
тогдашнему правописанию Капо д'Истрия, не попало;  
Жуковский отклонился от первоначального плана.  
Но несомненно, что это имя склоняли на все лады во  
время дебатов о журнале: иначе Жуковский не занес бы  
его в свой план.

Вот почему Блудов включил Каподистрия в почетные  
члены «Арзамаса»; арзамасцы надеялись при его покрове-

<sup>25</sup> Тюфякин Петр Иванович — директор императорских театров.

<sup>26</sup> Отчет имп. Публичной библиотеки за 1887 год. СПб., 1890,  
приложения, стр. 85.

<sup>27</sup> ГПБ, ф. В. А. Жуковского, оп. 2, № 69.

вительстве пристроить журнал к Министерству иностранных дел.

Издателями назначили Блудова и Уварова; общий надзор поручили Жуковскому; наметили, кто и о чем будет писать.

Блудов — французская литература современная; критика; русская литература современная; отрывки в прозе; смесь.

Уваров — греческая и латинская литература; немецкая и английская современная литературы; отрывки в прозе; смесь.

Вигель — французская литература; отрывки в прозе; смесь.

Кавелин — отрывки в прозе; смесь.

Вяземский — русская литература современная; живописец; стихотворения; театр.

Северин — история современная; испанская литература и английская; отрывки в прозе.

Орлов — политика вообще; отрывки в прозе.

Жуковский недоумевал, о чем писать протокол; о журнале стихи уже сложены. А на заседании обсуждался все тот же вопрос.

Был Арзамас в день Изока и в день, я не знаю, который, Был Арзамас, как не был, ибо все члены от Арфы Вплоть до Светланы священным сумбуром друг друга душили. Вот почему протокола не вышло, а вышел с натугой Карлик один, протоколец незнатной, достойный Беседы. Есть же тому и другая причина: жарко Светлане! А в жар протоколы писать не безделка. Итак не зыщите.

Арзамасцы не сетовали на Светлану за стихотворные проделки и охотно подписали протокол-лилипут.

Настало наконец время установить законы «Арзамаса». Около двух лет отстаивал Жуковский «беззаконную» вольницу; теперь энергичный напор Варвика, Рейна и Адельстана вынудил Светлану засесть за законы или, как она говорила, за «законцы». «В доме важного Рейна был Арзамас не на шутку. В том Арзамасе читали законы...», — записала Светлана. Законы вызвали споры. Около месяца оттачивали «законцы», и вот наконец 13 августа 1817 года

Рейн прочел их внятно, понятно, приманчивым гласом. Смирно слушали члены, дослушав во всем согласились; Дал был Светлане приказ к подписанью законы представить. Вот Светлана представила их! Дело с концом: Подпишите!

«Проект устава Арзамасского общества безвестных людей.

п. 1. Цель Арзамаса двоякая: польза отечества, состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности, и вообще мнений ясных и правильных; польза самих членов, состоящая в труде постоянном. <...>

п. 4. Обязанности Арзамаса в отношении к Публике суть следующие:

а) Наблюдать политическое и нравственное состояние России и прочих государств.

б) Наблюдать состояние, ход, успехи и изменения наук, искусств и словесности как отечественной, так и чужеземной.

в) Сообщать Публике плоды своих наблюдений и в особенности посредством постоянного Периодического Издания.

д) Поощрять возникающие таланты по усмотрению Общества и по мере средств оно» (246).

Как трудно было арзамасцам прийти к приемлемым для них всех формулировкам! Чему отдать предпочтение: литературе или политике? В первом параграфе одержали верх умеренные члены общества, в четвертом — радикально настроенные арзамасцы последнего призыва.

«п. п. 10 и 11. Общие обязанности всех членов.

Члены природные приглашаются участвовать в рассуждениях и трудах Арзамаса.

Члены избранные обязаны:

а) Участвовать по мере возможности и требований в рассуждениях и вообще во всех делах Арзамаса.

б) Принимать и отправлять возлагаемые по назначению Арзамаса должности и поручения.

в) Трудиться вообще для пользы Арзамаса и Публики; а в особенности для Журнала, который Общество намеревается издавать.

д) Представлять Арзамасу в определенное время сочинения в стихах и прозе для Журнала. Число сих оброчных статей полагается с арзамасцев, находящихся в России, не менее 12 статей в год, с арзамасцев заграничных не менее 6 статей. <...>

е) Предлагать в назначенное время программы для сочинений.

f) При вступлении в Арзамас говорить по обычаю речь» (247—248).

Число природных, т. е. почетных членов не ограничено, избранных должно быть не более двадцати пяти.

При подписании устава в обществе состояло двадцать человек:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Давыдов                | 11. Полетика           |
| 2. Вяземский              | 12. Кавелин            |
| 3. Батюшков               | 13. Орлов              |
| 4. Николай Тургенев       | 14. Северин            |
| 5. Василий Львович Пушкин | 15. Пушкин             |
| 6. Жихарев                | 16. Уваров             |
| 7. Воейков                | 17. Плещеев            |
| 8. Вигель                 | 18. Дашков             |
| 9. Блудов                 | 19. Александр Тургенев |
| 10. Никита Муравьев       | 20. Жуковский          |

Пять вакансий оставались свободными. Но попасть в число «счастливых» было трудно. Для избрания требовалось получить голоса всех находящихся в России арзамасцев. Один черный шар уничтожал выбор и предложение.

Председателя по-прежнему выбирали на одно заседание. Кроме того, установили выбрать представителей Арзамаса.

«п. 15. Представители и поверенные Арзамаса составляют особенный *отряд* и заменяют собою все Общество в промежутки заседаний.

п. 16. Число их полагается не менее и не более семи.

п. 17. Они избираются наличными арзамасцами по большинству голосов на семь лет».

Приближались последние заседания общества, а арзамасцы выбирали своих должностных лиц на семь лет вперед!

«Подписаны законы Арзамаса так размахисто, как и все протоколы.

В исполнение одной из многих статей сих подписанных законов избраны представителями Арзамаса их высокопревосходительства:

- Светлана, яко тайник или секретарь.  
Ахилл.  
Асмодей.  
Кассандра.  
Чу.  
Старушка.  
Варвик.

... Читаны три программы, две — членом Рейном, одна — членом Варвиком, по поводу коей произошел страшный арзамасской язычный бой, и совершилось вторичное по сотворении мира смешение языков» (233—234).

Так записано в последнем протоколе «Арзамаса». Политические страсти накалились, разговоры пошли крамольные, и благоразумная Светлана сочла за благо не заносить на бумагу «арзамасские язычные бои».

И не узнали бы мы ничего об этих баталиях, если бы не письма и дневник Николая Тургенева.

Сравнение заслуг Англии и Франции — вот какую программу выбрал Николай Тургенев.

«Англия заставила Европу любить свободу, — говорил Варвик. — Там правительство существует для народа, а не народ для правительства; там каждое действие деспотизма, своевольства находило в парламенте строгих судей и неумолимых хулителей, подвиги же патриотов были благословляемы; там не власть правительства, но свобода подданного почитается неограниченной.

Франция своею революциею прочла для Европы полный курс управления государственным. Но люди испортили революцию; сначала якобинцы, затем Наполеон предали свободу.

И все-таки свобода побеждает. Идеи 1789 года распространились посредством собственной своей силы, своего превосходства — точно так, как правила реформации.

Судьба Людовика XVI доказала сильным мира сего вред неограниченной власти. Пруссия, Испания, Россия показали, что в величайших опасностях не армии, а народы спасают государства; солдаты Наполеона показали опасность военного деспотизма.

Происшествия показали дряхлость и негодность прежних политических систем и необходимость новых».<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Подробнее об этом см.: С. С. Ланда. Неизвестный политический трактат декабриста Н. И. Тургенева. — В кн.: Проблемы истории общественного движения и историографии. К 70-летию акад. М. В. Нечкиной. М., «Наука», 1971, стр. 62—92; Е. Б. Бененковский, М. Я. Билинкис, В. В. Пугачев. Неизвестная рукопись Н. И. Тургенева «Сопоставление Англии и Франции». — В кн.: Освободительное движение в России. Вып. 2. Изд. Саратовского ун-та, 1971, стр. 108—140.

Да, опасные предметы занимали теперь умы арзамасцев; они спорили о лучшем государственном устройстве, обсуждали уроки европейских революций и военных переворотов, говорили об уничтожении рабства в России. Осенние заседания «Арзамаса», не в пример собраниям прошлых лет, проходили в яростных спорах, в ожесточенной полемике.

Славным политическим университетом явились эти бурные заседания для молодого Пушкина. Вигель заметил, что поэта «сама судьба всегда совала в среду недовольных». Так было и на сей раз. Случайно это или не случайно, но официальное вступление его в «Арзамас», крещение Сверчком совпало с самым крамольным периодом деятельности общества. Не потому ли кличка Сверчок так полюбилась Пушкину на многие годы? Тринадцать лет спустя поэт напечатал стихотворения в «Литературной газете» Дельвига и поставил под ними анаграмму «Крс»; это была зеркальная зашифровка его арзамасской клички Сверчок.

Мы не знаем, что именно говорил Пушкин на осенних заседаниях «Арзамаса», но мы хорошо знаем — и об этом разговор будет дальше, — что речи Николая Тургенева крепко запали в душу поэта и вдохновили его написать оду «Вольность».

Таков след «Арзамаса» в творчестве Пушкина: от эпиграмм на пишковистов, от поэмы «Тень Фонвизина» до страстной оды во славу свободы.

В конце 1817 года, в разгар политических прений, начался отъезд арзамасцев из столицы.

27 августа Александр Тургенев прочел на заседании общества указ о назначении Вяземского на службу в Варшаву. Прошло пять недель. «Сегодня получил от Асмодея „Прощание с халатом“», — провозгласила Элова Арфа арзамасцам.

«Просим прожурчать послание», — воскликнули их превосходительства.

Прости, халат! Товарищ неги праздной,  
Досугов друг, свидетель тайных дум;  
С тобою знал я мир однообразный,  
Но тихий мир, где света блеск и шум  
Мне, в забытыи, не приходил на ум.

Теснясь в рядах прислужников властей,  
Иду тропой заманчивых честей.

Что ждет меня в пути, где под туманом  
Свет истины не различишь с обманом?

На поприще, где беспрестанной сшибкой  
Волнуются противников ряды,  
Оставлю я на торжество вражды,  
Быть может, след моей отваги тщетной  
И неудач постыдные следы;  
О мой халат, как встарину приветный  
Прими тогда в объятия меня,  
В тебе найду себе отраду я.

Восхищенные слушали их превосходительства мелодичное журчание Эловой Арфы. Кому из них не был дорог уютный домашний халат, неизменный спутник задумчивости и вдохновения? Кто не сживал в его объятиях у камелька? Кто не проводил в его обществе долгие зимние вечера? Счастливец Асмодей! Какая редкая удача выпала на его долю! Напасть на такой сюжет! Так искусно живописать предмет, достойнейший во всех отношениях! В отличном расположении духа разошлись их превосходительства Гении Арзамаса по домам. Облачаясь вечером в халаты, они с нежностью вспоминали строки Асмодеева послания.

Вяземский прощался с халатом, со спокойным московским житьем, с «Арзамасом».

В разные концы вселенной разлетелись арзамасские гуси: Чу — в Константинополь, Очарованный Челн — в Вашингтон, Рейн — в Киев, Асмодей — в Варшаву, Кассандра — в Лондон.

Все реже собираются арзамасцы, и вот уже Жуковский пишет прощальную речь:

Братья-друзья арзамасцы! Вы протокола послушать,  
Верно, надеялись. Нет протокола! О чем протоколировать?  
Все позабыл я, что было в прошедшем у нас заседаньи!  
Все! да и нечего помнить! С тех пор, как за ум мы взялися,  
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться —  
Смех заступила зевота, чума окаянной Беседы!

С легкой грустью подтрунивала Светлана над арзамасцами; не послушались, дескать, моих предостережений, забыли веселую буффонаду, вот и оказались у разбитого корыта, под стать окаянными беседчикам.

Мы написали законы; Зегельхен их переплел и слупил с нас  
 Восемь рублей и сорок копеек — и все тут. Законы  
 Спят в своем переплете, как мощи в окованной раме!  
 Между тем Рейн усатый, нас взбаламутив, дал тягу  
 В Киев и там в Днепре утопил любовь к Арзамасу!  
 Я, Светлана, в графах таблиц, как будто в тенетах,  
 Скорчась сижу; Асмодей, распростившись с халатом свободы,  
 Лезет в польское платье, поет мазурку и учит  
 Польскую азбуку; Резвый Кот всех умнее; мурлычет  
 Нежно *люблю* и просится в церковь к налою; Кассандра,  
 Сочным бивстексом плеща, коляску ставит на сани,  
 Скачет от русских метелей к британским туманам, и гонит  
 Челн Очарованный к квакерам за море; Чу в Цареграде  
 Стал не Чу, а чума, и молчит; Ахилл по привычке  
 Рыщет и места нигде не согреет; Сверчок, закопавшись  
 В щелку проказы, отсюда кричит к нам в стихах: я лениуся.  
 Арфа, всегда неизменная Арфа, молча жиреет!

Печальное зрелище! Многих арзамасцев расшвыряла  
 судьба в разные стороны; сам Жуковский попал в мен-  
 торы: стал преподавать русский язык великой княгине  
 Александре Федоровне; где уж тут вволю сочинять  
 стихи, когда взялся составлять грамматические таблицы?

Только один Вот-я-вас усердствует славе: к бессмертью  
 Скачет он на рысках: припряг в свою таратайку  
 Брата Кабуда к Пегасу, и сей осел вот-я-васов  
 Скачет, свернувшись кольцом, как будто в Опасном соседе!  
 Вслед за Кабудом, друзья! Перестанем лениться! быть худу!  
 Быть бычку на веревочке! быть Арзамасу Беседой!

Сказка «Кабуд-путешественник» написана Василием  
 Львовичем по мотиву восточного сюжета; в ней нет ни-  
 чего примечательного, кроме острого словца: «Где видел  
 ты ослов с умом и просвещеньем?» — и заключитель-  
 ного правоучения: «А кто поехал в путь ослом, ослом и  
 возвратится». Далеко сей побасенке до «Опасного со-  
 седа»! Вряд ли Жуковский был в восторге от нее. В его  
 словах звучит ирония и назидание арзамасцам.

7 апреля 1818 года, по случаю отъезда Блудова в Лон-  
 дон, состоялось последнее заседание «Арзамаса».

Тогда-то и прочел, надо думать, Жуковский свое про-  
 щальное напутствие.

«Арзамас» умер весной 1818 года.

## АРЗАМАССКОЕ. БРАТСТВО

### Глава четвертая

«Арзамас», с его заседаниями и протоколами, был  
 лишь эпизодом, — правда, наиболее красочным и коло-  
 ритным, — в истории арзамасского братства. Этот термин,  
 введенный нами в научный оборот в 1962 году,<sup>1</sup> требует  
 некоторого пояснения.

По окончании Лицея Пушкин пишет прощальное  
 стихотворение «Кюхельбекеру»:

В последний раз, в тиши уединенья,  
 Моим стихам внимает наш Пенат!  
 Лицейской жизни милый брат,  
 Делю с тобой последние мгновенья!

Прости... где б ни был я: в огне ли смертной битвы,  
 При мирных ли брегах родимого ручья,  
 Святому братству верен я!

Осенью 1820 года в Кишиневе Пушкин набрасывает  
 черновик письма к арзамасцам, в котором именует их  
 членами «православного братства». Нас не должен сму-  
 щать эпитет «православный», употребленный Пушкиным,  
 конечно, в том шуточном стилистическом ключе, который  
 прочно ассоциировался в сознании поэта с пародий-  
 ными протоколами «Арзамаса».

<sup>1</sup> М. И. Гиллельсон. Материалы по истории арзамасского  
 братства. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV.  
 М.—Л., Изд. АН СССР, 1962, стр. 287—326.

Только дважды Пушкин счел нужным применить слово «братство» — один раз он назвал братством свой лицейский круг, второй раз — арзамасцев. Таким образом, можно считать, что термин «арзамасское братство» санкционирован самим поэтом.

Возникновение арзамасского братства ознаменовало значительную эволюцию карамзинизма. Обычно, говоря об этом общественно-литературном течении, не отмечают тот факт, что в 1810-е годы оно претерпевает существенные изменения, которые приводят к возникновению внутри него сильного оппозиционного крыла.

Шло время, исчезали надежды на конституционные преобразования сверху, столь сильные в начале царствования Александра I. Соответственно с поправлением правительственного курса происходит консолидация реакционных сил в литературе; в 1811 году возникает «Беседа любителей русского слова». В то же время в произведениях эпигонов Карамзина сентиментализм мельчал и вырождался.

Однако к концу 1800-х годов дает себя знать и противоположная тенденция: вокруг карамзинского знамени собираются молодые талантливые писатели, будущие арзамасцы, которые придают иное направление карамзинизму; вопреки личному желанию Карамзина резко обостряется полемика с шишковистами и многие его сторонники оказываются в лагере дворянской оппозиции.

В развитии передовых настроений среди приверженцев Карамзина большую роль сыграла Отечественная война 1812 года. Атмосфера освободительной войны, личное участие во всенародной борьбе с иноземными захватчиками (Денис Давыдов, Батюшков, Орлов, Вяземский, Жуковский, Воейков — кто в большей, а кто в меньшей степени — сражались в рядах русской армии) несомненно наложили отпечаток на общественные воззрения будущих арзамасцев.

Отечественная война 1812 года ускорила процесс становления арзамасского братства. Б. С. Мейлах справедливо отмечает, что из обозрения полемических произведений В. Л. Пушкина, Вяземского, Жуковского, Батюшкова, А. С. Пушкина, Дашкова, Блудова «можно сделать вывод о сплоченности основного ядра будущих арзамасцев, начавших свои выступления под общими лозунгами почти за пять лет до организационного оформле-

ния своего кружка».<sup>2</sup> Полагая, что деятельность «Арзамаса» не ограничивается арзамасскими протоколами, обратим внимание на существо арзамасских связей в период между 1810 и 1825 годами. В статье «По поводу бумаг В. А. Жуковского» (1875) Вяземский дает следующую характеристику арзамасского братства: «Мы уже были арзамасцами между собою, когда „Арзамаса“ еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания — все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и арзамасцы пришедшие и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняла всегда свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу».<sup>3</sup>

Воспоминания современников и переписка арзамасцев дают основание утверждать, что протоколы «Арзамаса» не отражают всей деятельности арзамасского братства, которое действовало не только в Петербурге, но и в Москве.

Арзамасское братство возникло в начале 1810-х годов; его возникновение явилось рубежом между старыми традициями и новыми веяниями внутри карамзинизма.

Апогеем существования арзамасского братства явилось образование «Арзамаса» (1815—1818). Распад «Арзамаса» совпал с расслоением арзамасского братства на оппозиционное и лояльное направления. Умеренное крыло арзамасского братства возглавили Карамзин, Жуковский и Блудов, радикальное крыло — Пушкин, Михаил Орлов, Николай Тургенев и Вяземский.

Конец арзамасского братства можно в основном датировать разгромом восстания декабристов: в области политики оказались развеянными в прах надежды на конституционное преобразование страны верховной властью при поддержке передовых дворян; в области эстетической шло движение к реализму. К середине

<sup>2</sup> История русской литературы. Т. 5. М., Изд. АН СССР, 1941, стр. 331.

<sup>3</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. VII. СПб., 1882, стр. 411—412.

1820-х годов арзамасское братство уступило место новым литературно-общественным группировкам.

Итак, 1810—1825 годы — таково время деятельности арзамасского братства; в эти же годы возмужал творческий гений Пушкина. Какие же черты арзамасской идеологии органически присущи мировоззрению Пушкина?

В статье «Нечто о журналах» (1810) Дашков писал о том, что критика должна стать полновластной хозяйкой литературного журнала: «Все может входить в состав такого журнала: словесность, известия о важных открытиях в науках и искусствах, и проч.; но главною целию оною должна быть — критика».<sup>4</sup>

Мысль Дашкова о гегемонии критики в литературном журнале была для того времени утопической. Два десятилетия спустя Пушкин, соглашаясь с мнением его, утверждал, что эра истинной критики еще не наступила.

«Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналов наших достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах. Презирать критику значит презирать публику (чего боже сохрани). Как наша словесность с гордостью может выставить перед Европою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен, пэан 12 года Жуковского, перевод Илиады, несколько цветов элегической поэзии, — так и наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия. Но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили еще веса и постоянного влияния. Время их еще не пришло» (XI, 166—167).

К тому времени уже появились в печати критические статьи Вяземского, Бестужева, Рыльева, Кюхельбекера, Катенина, Николая Полевого, Ивана Киреевского. И тем не менее приговор Пушкина поразительно строг. Отдельные удачные кавалерийские набеги не могут, по его мнению, восполнить действия регулярных войск; беда в том, что еще нет *систематической* журнальной критики, т. е. не исполнено требование Дашкова, высказанное им на заре арзамасского братства.

<sup>4</sup> Санктпетербургский вестник, 1812, ч. 1, № 1, стр. 2.

Но требование было четко сформулировано, и в этом неоспоримая заслуга Дашкова. Пусть только Белинский смог возвести критику в ранг важнейшего журнального жанра. На долю арзамасцев выпала более скромная роль — предоставить критике достойное место в своем дружеском кругу. Критика стала альфой и омегой их литературного содружества. Критицизм пронизывает всю деятельность участников арзамасского братства.

Один лик критической стихии — насмешка, шарж, пародия, эпиграмма, буффонада; это оружие арзамасцы обращают против беседчиков и иных литературных (а порой не только литературных) супостатов.

Другой лик — взыскательная взаимная критика, дружеские укоры за каждую неточную мысль, рифму, оборот речи; настойчивые поиски хорошего взамен дурного и посредственного, лучшего взамен хорошего, совершенного взамен лучшего. Пусть нет совершенства в жизни, оно должно быть в литературе — таков был символ веры писателей-арзамасцев.

Третий лик — теоретическое осмысление критерия критики. Литературная критика раннего карамзинизма руководствовалась прежде всего понятием вкуса. В 1810-е годы этот эстетический канон подвергается трансформации. Уже в критических статьях Жуковского категория вкуса лишается своего монопольного положения. В статье «О басне и баснях Крылова» (1809) Жуковский, обозначая жанровые особенности басни, кратко излагает историю басни (прозаической, а затем поэтической); в другой статье — «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще» (1810) — он вдается в историю этого жанра. Историческая перспектива позволила Жуковскому точнее определить историко-литературное значение творчества Кантемира и Крылова. Именно элементы историзма, а не отдельные попутные высказывания, как бы интересны они ни были, наиболее существенны для нас в статьях Жуковского.

Общественные потрясения XVIII—начала XIX века распатали метафизические концепции и дали сильный толчок для развития исторического мышления. Принцип прогрессивной эволюции мира, выдвинутый Вольтером, работы Гердера «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты» (1766—1768) и «Критические леса» (1769)

способствовали обращению к историческому методу при рассмотрении литературных явлений. Историческая точка зрения стала овладевать умами литературных критиков. В России этот процесс отчетливо отразился в суждениях и печатных выступлениях арзамасцев.

«Слова и выражения, говорит Гораций, цветут и упадают, как древесные листья: для них есть своя весна и осень»,<sup>5</sup> — напоминал Воейков.

Расин и Лафонтен, Вольтер, Руссо, Ламонт  
Писали уж не так, как писывал Марот<sup>6</sup>

— это строки из известного послания Василия Львовича Пушкина к Жуковскому. Язык французской литературы XVI века значительно отличается от языка произведений XVII—XVIII столетий. Наивны попытки искусственно задержать развитие языка. Василий Львович цедил в Шишкова и его старомодных приверженцев.

Александр Тургенев призывал пропускать «сквозь чистилище критики каждое сказанное слово, каждое историческое известие, застарелое ли или новое, не полагаясь на *авторитет* славного писателя».<sup>7</sup>

«Во Франции, — писал арзамасец Орлов о защитниках невежества, — они противятся свободомыслию и введению предвзятельного правления; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они торжествуют, и каждый из них приносит радостно свое дряблое полено для сооружения костров инквизиции; в Италии они восстают против распространения священного писания и проклинают громогласно библейские собрания; в Турции они превозмогли и остановили навсегда успехи просвещения. Наконец, история наша полна их покушений против возрождения России».<sup>8</sup>

История нового времени изображена Орловым как единоборство просвещения с невежеством. Перед нами яркий русский вариант теории прогрессивной эволюции мира, которую в свое время сформулировал Вольтер. Краеугольный камень этой теории — просветительский

<sup>5</sup> Цветник, 1810, ч. VIII, стр. 108.

<sup>6</sup> Там же, стр. 362.

<sup>7</sup> Северный вестник, 1804, ч. II, стр. 293.

<sup>8</sup> Сборник имп. Русского исторического общества. Т. 78. СПб., 1891, стр. 523—524.

историзм. Ее адептами в России являлись многие передовые деятели 1810—1820-х годов, среди которых прежде всего назовем лицейских преподавателей Пушкина — Александра Петровича Куницына и других.<sup>9</sup>

Наконец, у Вяземского просветительский историзм становится основным критерием литературной критики. Можно открыть наугад любую его статью времен арзамасского братства, чтобы убедиться в справедливости этого утверждения.

Просветительский идеал лицейских профессоров и друзей-арзамасцев нашел сочувственный отклик в творчестве молодого Пушкина.

О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!  
Придет ужасный день, день мщенья, наказания.  
Предвижу грозного величия конец:  
Падет, падет во прах вселенныя венец.

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;  
И путник, устремив на груди камней око,  
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:  
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Это строки из стихотворения «Лицинию» (1815). Еще отчетливее идея просветительского историзма выступает в оде «Вольность», о которой мы будем говорить особо. И даже в более поздние годы, когда, умудренный опытом современной истории и чтением трудов представителей французской романтической историографии, Пушкин осознает, что просветительский взгляд на мир не объясняет всех загадок истории, — даже тогда мысли, выношенные поэтом в годы арзамасского братства, будут близки его общественным воззрениям: ведь рассуждения Пушкина о прогрессивной роли просвещенного дворянства в России закономерно вытекают из идей просветительского историзма.

В общем комплексе просветительских идей постоянно наблюдается скептическое отношение к религиозным догмам и религиозному фанатизму. Эта сторона просветительства также была близка арзамасцам, которые, как правило, не испытывали священного трепета перед церковными книгами и даже позволяли себе несколько на-

<sup>9</sup> Об этом см.: Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., Гослитиздат, 1958, стр. 78—114.

смешливое отношение к ним. «Большинство издевательских арзамасских речей, посвященных отпеванию „живых покойников“ Беседы, — как справедливо отмечено Д. Д. Благим, — по форме своей являются прямой и весьма характерной пародией библейских текстов, молитв, проповедей и т. п.» (9—10).

«Я посвятил себя ничтожеству, — вещал Шаховской устами Дашкова, — я отрекся от мира, от радостей и сует его, от славы, коей не имел еще, и восклицал с Иовом: „Сам наг изыдох от матери моей, наг и отыду тамо“ (кн. Иова, гл. 1, ст. 21)» (93).

Чтение стихотворения Жуковского «Певец в Кремле» вызывает кощунственную запись в протоколе заседания: «Читан был некой Гимн, как будто бы воспетый господу богу, разрушившему козни злочреватого Галла, который с двадцатью народами, разъяренный, богомерзкий, косящийся на золото и серебро и утварь церковную, отступник веры и злочестивый изbleватель хулений и непристойностей, притек, приспел, нахлынул на Москву и окутал ее пожарами» (126).

Только в узком дружеском кругу могли позволить себе арзамасцы так непочтительно касаться предметов, благоговеть перед которыми им предписывала православная церковь.

И здесь на страницах нашей книги снова выплывает имя Гнедича — участника раннего кружка Оленина: именно он один из зачинателей вольной перелицовки библейских текстов. Вот текст его пародии на беседчиков.

«Символ веры в Беседе при вступлении сотрудников. Верую во единого Шишкова, отца и вседержителя языка Славеноваряжского, творца своих видимых и невидимых сочинений. И во единого господина Шихматова, сына его едиnorodного, иже от Шишкова рожденного прежде всех, от галиматьи галиматья, от чепухи чепуха, рожденная, несотворенная, единосущная, еюже вся пишется; нас ради грешных писателей и нашего ради погубления выпешедшего из морского корпуса мичманом; распятого же зане при мучителе Каченовском и страдавшего, и погребена с писаниями. И воспешедшего в Беседу и седшего одесную отца Шишкова и грядущего со славою судити живых и мертвых писателей; иже с отцем Беседою поклоняема и славима глаголанного пророком Василием Тредиаковским. Во единую, соборную вельможную Бе-

седу. Исповедую едино отрицание от Карамзина во оставление грехов и галицизмов. Чаю воскресения моих мертвых стихов и погибели в будущей жизни всем растлителям языка, не поклоняющимся отцу Шишкову и едиnorodному сыну его Шихматову. Аминь.

Вся сия заповедати дегтицу поне трижды неотрочно на пощеденство прочитати чинно, не мяти, ниже смешивати часть с частью: но разделяти совершенными отдохновенными в Символе член от иного члена. И везде во всем писании точками совершенными разум распределенны разделяти» (23—24).

Биограф Гнедича П. Н. Тиханов пытался в 1884 году опубликовать эту остроумную перелицовку христианского символа веры, но цензура духовного ведомства не пропустила ее; впервые она была напечатана в 1933 году в книге «Арзамас и арзамасские протоколы». Пародия Гнедича предвосхищала «библейский» пафос арзамасских выступлений.

Антицерковная стихия «Арзамаса» — еще одно подтверждение просветительской природы этого литературного общества, его связи с традициями Вольтера, столь близкими Пушкину.

Добра чужого не желать  
Ты, боже, мне повелеваешь;  
Но меру сил моих ты знаешь —  
Мне ль нежным чувством управлять?  
Обидеть друга не желаю,  
И не хочу его села,  
Не нужно мне его вола,  
На все спокойно я взираю:  
Ни дом его, ни скот, ни раб,  
Не лестна мне вся благостыня.  
Но ежели его рабыня  
Прелестна... Господи! я слаб!  
И ежели его подруга  
Мила, как ангел во плоти, —  
О боже праведный! прости  
Мне зависть ко блаженству друга.

Это шуточное пародирование десятой заповеди Моисея. Еще кощунственнее звучала «перелицовка» библейских образов в послании Пушкина к Василию Львовичу Давыдову:

Вот эвхаристия другая,  
Когда и ты, и милый брат,

Перед камином надван  
Демократический халат,  
Спасенья чашу наполняли  
Беспенной, мерзлую струей  
И за здоровье *те*х и *той*  
До дна, до капли выпивали! . .  
Но *те* в Неаполе шалят,  
А *та* едва ли там воскреснет. . .  
Народы тишины хотят,  
И долго их ярем не треснет.  
Ужель надежды луч исчез?  
Но нет, мы счастьем насладимся,  
Кровавой чаши причастимся —  
И я скажу: Христос воскрес.

Эвхаристия — таинство святого причащения, один из самых священных ритуалов христианской веры; эвхаристия другая, по Пушкину, — революция. Так арзамасская традиция полемического переосмысления библейского благочестия отражалась то в шуточных, то в пророческих иносказаниях Пушкина.

Подобные произведения всегда имеют два плана: один — видимый, сюжетный, повествовательный; второй — «закулисный», сатирический, сталкивающий данный сюжет с его библейским «первоисточником». Таким образом, своим «отраженным» светом антиканонические выпады арзамасцев примыкают к более общей проблеме — к проблеме сатирических жанров в творчестве писателей-арзамасцев.

«Арзамас» родился в бушующих волнах сатирической стихии.

Из-под пера Воейкова выходит «Сатира к Сперанскому об истинном благородстве» и едкий стихотворный памфлет «Дом сумасшедших»;

Батюшков перелагает первую сатиру Буало, пишет эпиграммы и стихотворные памфлеты на беседчиков («Видение на берегах Леты», «Певец в Беседе любителей русского слова»);

Жуковский пишет критические статьи о Кантемире и Крылове;

Дашков осмеивает Шаховского в «Письме к новейшему Аристофану» и в издевательской кантате.

По всей вероятности, Дашкову же принадлежат сатирические куплеты, которые исполнялись в «Арзамасе» при приеме в его члены Жихарева.

Жалок тот, кому Мешкова  
Ветхий куль с корнями слов,  
Мутны воды Шутовскова  
И Шихматных пук стихов  
В наслажденье — как и прежде!  
Кто Картузову клеверет,  
Кто досель в пустой надежде  
От Беседы смысла ждет!

Пусть виляет на Парнасе,  
Как запачканный Хлыстов;  
Пусть с ним рыщет на Пегасе,  
И морит своих чтецов;  
Сыплет тучами Посланья,  
Од и Притчей миллион  
И в Беседе храм зеванья,  
Сам зевая, строит он.

Счастлив тот, кто Шутовскова  
*Шуб, Кокеток и Сирот,*  
Прозы дедовской Мешкова  
И Шихматных громких Од  
Не читает в наслажденье;  
Кто Картузову не брат,  
И Славянам в угожденье  
Не брапит везде Баллад.  
*(обращаясь к новому члену)*  
О, приди, наш гость желанный!  
Ты один и был цветок  
Средь Халдеев предъизбранный:  
Нам тебя дал ныне бог.  
Полю тлеть в их пыльном гробе:  
В Арзамасе расцветешь;  
И на зло Беседной злобе  
Плод нам сладкий принесешь.

Сатирическое выступление Блудова «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых мужей», как об этом уже говорилось, дает повод к образованию «Арзамаса».

Полемические послания Василия Львовича Пушкина «К В. А. Жуковскому» и «Д. В. Дашкову», его сатирическая поэма «Опасный сосед» способствовали поляризации литературных группировок, самоутверждению арзамасского братства.

Вяземский начинает свой литературный путь резким сатирическим стихотворением «Сравнение Петербурга с Москвой»; за ним следует поток эпиграмм и антиприветственный ноэль «Спасителя рожденьем».

Спасителя рождением  
Встревожился народ;  
К малютке с поздравленьем  
Пустился всякий сброд.  
Монахи, рифмачи, прелестницы, вельможи,  
Иной пешком, другой в санях;  
Дитя глядит на них в слезах  
И вопит! Что за рожи!

Нозль Вяземского вызвал возмущение не любившего крайности Жуковского. Зато Пушкин был в восторге — воскрешение забытого жанра (в России им пользовался поэт-сатирик XVIII века Д. П. Горчаков) пришлось ему по душе; он сам пишет несколько нозлей; только один из них сохранился полностью — это всем известный нозль на Александра I «Ура, в Россию скачет...».

Сатирическая выучка, приобретенная Пушкиным в общении с арзамасцами, проявилась и в его беспощадных эпиграмах на литературных недругов и политических противников.

О муза пламенной сатиры!  
Приди на мой призывный клич!  
Не нужно мне гремящей лиры,  
Вручи мне Ювеналов бич!

— писал Пушкин в стихотворении, которое, по словам его друга Сергея Александровича Соболевского, должно было открывать сборник пушкинских эпиграмм.

Конечно, наивно было бы полагать, что истоки пушкинской сатиры надлежит искать исключительно в произведениях писателей-арзамасцев. Сатира европейского и русского Просвещения XVIII века, лучшие образцы античной сатиры давали мощные импульсы для его творческой фантазии. Но интенсивность восприятия этих источников была стократ усилена благоприятной литературной средой, в которой вращался молодой Пушкин.

С юных лет он жил в кругу друзей, участливых и доброжелательных. Арзамасское общество безвестных людей помогло окрепнуть творческому дарованию Пушкина. Споры арзамасцев возбуждали интерес Пушкина ко многим проблемам истории, литературы, языка.

В нашем прологе мы уже говорили о том, что полемика Уварова с Гнедичем и Капнистом о переводе «Илиады» не могла пройти незамеченной Пушкиным; ведь проблема национального характера поэзии, национального своеобразия той или иной литературы была одной из

центральных, магистральных проблем в творчестве и критическом осмыслении представителей различных литературных направлений того времени. Размышления на эту же тему должна была вызвать небольшая брошюра, изданная арзамасцами в 1820 году. Она называлась «О греческой антологии», и ей было предпослано следующее предисловие:

«От издателя.

Сию рукопись получили мы из Арзамаса следующим образом. За несколько лет пред сим жили там два приятеля, оба любящие страстно литературу. Во время свободное от хозяйственных занятий читали они вместе поэтов древних и новых, и нередко старались им подражать для собственного наслаждения; не для публики, которая их не знала и о коей они не помышляли. По стечению обстоятельств были они принуждены прекратить дружеские беседы свои; один из них был избран в земские заседатели; другой поступил во внутреннюю стражу, и бумаги их остались в руках Арзамасского трактирщика, от которого мы оные получили. В том числе находилась статья, которую мы решились напечатать. Она конечно не может удовлетворить совершенно справедливое требование знатоков: безделки двух беспечных провинциалов могут ли не оскорбить невольно утонченный вкус столицы? Впрочем, предаем и на общий суд без дальнейших объяснений; статья была подписана так: Ст.... и А.... „Davus sum non Œdipus“.<sup>10</sup>

«Я — Дав, а не Эдип». Это реплика из пьесы римского комедиографа Теренция «Андреанна»; слуга Дав, умный и расторопный, с лукавой усмешкой выдавал себя за простака. «Я — Дав, а не Эдип», — говорил он, а сам в это время думал, что приведет его встретиться с Эдипом, они бы еще поспорили, кто из них смекалистее.

Лукавым, изображающим авторов скромными провинциалами, являлось и мистифицирующее предисловие издателя; его написал Дашков, который и в самом деле издавал эту брошюру. Она была плодом совместных занятий Уварова и Батюшкова, — в конце простодушного предисловия приведены в сокращении их арзамасские клички: Ст...., т. е. Старушка, и А...., т. е. Ахилл.

<sup>10</sup> О греческой антологии. СПб., 1820.

Позднее Уваров писал: «Говорят, что арзамасский кружок намеревался издавать журнал и что помещенная к сочинениям Батюшкова статья: *О греческой антологии* была написана именно для этого журнала».<sup>11</sup>

«Я прочел изданную Уваровым античную антологию греческую, мне им присланную. И стихи (Батюшкова русские, Уварова французские) и проза (Уварова) очень хороши. Есть весьма смелые мысли, но справедливые и хорошо выраженные»,<sup>12</sup> — записал 1 марта 1820 года младший из братьев Тургеневых — Сергей Иванович.

Уваров утверждал, что античная поэзия «потеряет свою цену, если мы не станем смотреть на нее глазами древних». Этот тезис был полемически заострен против системы аллюзий классицизма и, конечно, не прошел бесследно для творческого сознания Пушкина — его антологические стихотворения 1830-х годов ярко воссоздают неповторимый колорит античной цивилизации, «глазами древних» показан в них античный мир.

«Посредством Антологии мы становимся современниками Греков, — писал Уваров, — мы разделяем их страсти, мы открываем даже следы тех быстрых, мгновенных впечатлений, которые, как следы на песке в развалинах Геркуланума, заставляют нас забывать, что две тысячи лет отделяют нас от древних. Посредством Антологии участвуем в празднествах, в играх, следуем за гражданами на площадь, в театр, во внутренность домов: одним словом, мы с ними дышем, живем».

В Лаясе нравится улыбка на устах,  
Ее пленительны для сердца разговоры;  
Но мне милей ее потупленные взоры  
И слезы горести внезапной на очах.  
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,  
У ног ее любви все клятвы повторял,  
И с поцелуем, к сладострастью  
На ложе роскоши тихонько увлекал...  
Я таял, и Лаяса млела...  
Но вдруг уныла, побледнела,  
И слезы градом из очей!

Смущенный я прижал ее к груди моей;  
Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою? —  
Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;  
Я мыслю была встревожена одною:  
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь.

<sup>11</sup> Современник, 1851, № 6, отд. II, стр. 38.

<sup>12</sup> ИРЛИ, ф. 309, № 25, л. 80 об.

«В этих стихах узнаем мы нравы народа, привыкшего возвышать цену наслаждений искусным смешением впечатлений противоположных. Греки давали иногда наслаждению томный вид меланхолии; статую Смерти они нередко ставили посреди пиршеств и чаш веселия».<sup>13</sup>

Слитностью стихотворных миниатюр Батюшкова и пояснительного обрамления, выполненного Уваровым, отмечена вся эта небольшая брошюра, изданная арзамасцами. Они оба глубоко чувствовали дух древней поэзии и донесли ее аромат до русского читателя.

Но как же так — почему греческий гекзаметр передан ямбическим размером? Почему Уваров, который доказал Гнедичу необходимость переводить «Илиаду» размером подлинника, не уговорил Батюшкова переложить антологические стихотворения гекзаметром? По всей вероятности, в этой кажущейся на первый взгляд непоследовательности имелась своя внутренняя логика — в глазах Уварова величественный гекзаметр был единственно возможной формой для передачи греческого эпоса; для лирических жанров это правило, как ему думалось, не являлось непреложным.

Иного взгляда на сей предмет придерживался Дашков, который и сам с 1818 года занимался переводами античных поэтов. В отличие от Батюшкова Дашков строго соблюдал размер подлинника: антологические эпиграммы воссозданы им при помощи русского гекзаметра и пентаметра. Переводы его печатались анонимно в 1825—1828 годах в «Полярной звезде», «Северных цветах» и «Московском телеграфе». Дашков собирался издать свои превосходные переводы отдельным сборником; недавно найдено и опубликовано написанное им стихотворное посвящение к этому сборнику.

#### *Приношение друзьям*

Злата в пути не стяжав, единую горсть фимиама  
Странник в отчизну несет лику домашних богов.  
Ныне в отчизне и я! С полей благовонных Еллады  
Просто сплетенный венок Дружбы кладу на алтарь.  
Труд сей был мне утешеньем средь бурь, в болезнях  
и скорби,  
Вам он готовлен, друзья: с лаской примите его!<sup>14</sup>

<sup>13</sup> О греческой антологии, стр. 31.

<sup>14</sup> Поэты 1820—1830-х годов. Т. 1. Л., «Сов. писатель», 1972, стр. 72. — В этом издании В. Э. Вацуру впервые собрал воедино

Можно ли сомневаться в том, что посвящение Дашкова адресовано друзьям-арзамасцам? Так постепенно архивные находки расширяют наше представление о творческой деятельности этого дружеского сообщества.

Пусть переводческая работа Дашкова продолжалась всего несколько лет, пусть им переведено всего несколько десятков стихотворений, зато это первоклассные переводы, доказавшие правомерность передачи антологических стихотворений размером подлинника.

Среди имен неоклассиков Гнедича, Батюшкова, Дашкова необходимо назвать и имя лицейского друга Пушкина — Дельвига. «Идиллии Дельвига для меня удивительны, — писал Пушкин. — Какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях!» (XI, 58).

Участник раннего кружка Оленина Гнедич, арзамасцы Батюшков и Дашков, лицейский друг Дельвиг — все они увлекали Пушкина в гармонический мир античной культуры, где превыше всего ценились классическая строгость форм, ясность мыслей, предельная естественность чувств, нагота выражений.

Подобное восприятие культуры древних эллинов, отставшее «античный маскарад» европейского классицизма, сопровождалось в те годы повышенным интересом к литературам Востока. В 1810 году Уваров напечатал «Projet d'une Académie Asiatique»,<sup>15</sup> в котором он ратовал за учреждение в России Азиатской академии; одним из важнейших аргументов в пользу подобного проекта являлся тезис автора о первостепенном значении литератур Востока для мировой цивилизации. Полностью осуществить свой проект Уварову не удалось; лишь

переводы антологических эпиграмм Дашкова (в том числе и ранее не публиковавшиеся).

<sup>15</sup> Перевод проекта Уварова, сделанный Жуковским, опубликован под названием «Мысли о заведении в России Академии Азиатской» (см.: Вестник Европы, 1811, ч. LV, стр. 27—52, 96—120).

в 1818 году по его настоянию создали две кафедры восточных языков при Главном педагогическом институте в Петербурге.

Поэзия арабов «пылает, как их степь; она чудесна, как их история, — говорил Уваров на торжественном заседании, посвященном этому знаменательному событию. — Арабы не уступали ни одному народу в любви к турнирам, к рыцарству, к поэзии. Следы пребывания их в Испании произвели Ариосто и рыцарскую литературу...

Персы имеют во всех родах превосходных поэтов: *Фир-Дуси* их Омер, *Гафи* их Пиндар и Анакреон...

Но из всех литератур Востока первая, важнейшая, обширнейшая есть, без сомнения, литература Индии... Кто не захочет познакомиться с сим богатым рудником; вникнуть в философию, в законодательство, в поэзию, в науки народа, столь еще мало известного, по которому, может быть, принадлежит первое место в просвещенном мире; пройти сквозь сей безмолвный ряд веков; внести светильник в мрачное жилище давно истлевших племен и поколений; одним словом, привязать свой ничтожный, быстротечный век к сим неподвижным памятникам отцветшего просвещения и забытой, но чудесной славы?»<sup>16</sup>

В этот день Уваров положил начало отечественному востоковедению; две скромные кафедры были преобразованы затем в Восточный факультет Петербургского университета, и многие его питомцы, знатоки восточных языков, завоевали широкую известность. Но это было дело будущего. Пока же Уваров возбудил интерес к Востоку у русских литераторов. Не остался чужд этому интересу и Пушкин. Цикл «Подражания Корану» (1824), «Из Гафиза» (1829), «Подражание арабскому» (1835) свидетельствуют об исключительном даре перевоплощения, умении схватить и передать в переводе своеобразие психики, образа мыслей и выражений, присущих восточным литературам.

Пушкина бесспорно привлекала широкая постановка вопроса о восточных литературах, которая отличала Ува-

<sup>16</sup> Речь президента императорской Академии наук, попечителя Санктпетербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института, 22 марта 1818 года. СПб., 1818, стр. 7—14.

рова. Разновидностью восточной темы в русской литературе являлась, как известно, библейская тема (в данном случае имеется в виду не пародическое переосмысление библейской образности, о которой говорилось ранее, а патетическое, приподнятое, торжественное «звучание» библейских мотивов). В интерпретации библейской темы, например в «Пророке», Пушкин шел по стопам своего лицейского товарища, декабриста Кюхельбекера, и своего знакомого, поэта декабристской ориентации Федора Глинки, а не Уварова, который считал Библию идеологическим оружием против неверия французских философов XVIII века.

Теперь, когда по-новому воспринималась античная культура, когда стали черпать полными пригоршнями из вновь открытой сокровищницы восточных литератур, колебались незыблемые прежде устои: догматизм и схематизм теоретиков классицизма сменился универсализмом представителей неоклассических и романтических течений; в художественных произведениях стали ценить прежде всего их национальный колорит. Этот общеевропейский процесс распространил свое влияние и на русскую литературную критику. Уже в 1823 году арзамасец Вяземский высказал пожелание, чтобы национальная индивидуальность проступала во всем облике отечественной литературы: «Литература должна быть выражением характера и мнений народа», — писал он в статье «Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822 года». Суждения Вяземского о народности литературы предвосхищали высказывания деятелей декабристского лагеря и во многом совпадали с ними. Статьи Вяземского наряду с трудами западноевропейских теоретиков литературы, и в первую очередь мадам де Сталь, заметно повлияли на высказывания молодого Пушкина о народности литературы. В дальнейшем, к середине 1820-х годов, пушкинское понимание народности становится значительно глубже, чем у Вяземского и у других теоретиков литературы того времени. Пушкин стремительно обгоняет своих современников. Но последующая эволюция не снимает проблемы историко-литературной преемственности связи мыслей Пушкина о народности с воззрениями передовых арзамасцев.

Обоснование первостепенной роли литературной критики, историзм, скептическое отношение к религиозным

догмам, понимание социального значения сатирических жанров, новое восприятие античной культуры, расширение рамок мирового литературного процесса, народность литературы, — весь этот разнородный комплекс общественных, исторических и литературных проблем, связанных с деятельностью арзамасского братства, способствовал возмужанию творческой индивидуальности Пушкина.<sup>17</sup>

## Глава пятая

По выходе из Лицея Пушкин станет охотно посещать квартиру братьев Тургеневых. Здесь он постоянно встречал интересных собеседников и задиристых спорщиков. Самым заядлым из них был, пожалуй, Николай Иванович Кривцов — он был до крайности неводержан на язык, говорил остро и метко; разговоры с ним полюбились Пушкину, они сошлись коротко, на ты.

Кривцов был старше Пушкина восемью годами. Он рубился с французами под Смоленском и под Бородином; в сражении при Кульме ядро оторвало ему ногу выше колена. В Лондоне ему сделали пробковую ногу, и он мог даже танцевать; но с военной карьерой было покончено.

Он остался надолго за границей: побывал в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии; полтора года прожил в Париже; свел знакомство с мадам де Сталь, Бенжаменом Констаном, Александром Гумбольдтом и другими европейскими знаменитостями.

Кривцов вернулся в Россию атеистом и либералом. Однако власти об этом не знали. Он оставался на хорошем счету у начальства и вскоре получил звание камергера с назначением в русское посольство в Лондон.

Летом 1818 года Кривцов прислал Пушкину из благочестивой Англии безбожные стихи; они продолжали спор о началах бытия, были ответом на пушкинское послание к Кривцову:

<sup>17</sup> Ценные наблюдения о влиянии арзамасской атмосферы на литературную деятельность Пушкина и других членов «Арзамаса» см. в статье В. С. Краснокутского «Проблема комического в теории и творчестве арзамасцев» (Вестник МГУ, 1973, № 6, стр. 16—28).

Не пугай нас, милый друг,  
Гроба близким новосельем:  
Право, нам таким бездельем  
Заниматься недосуг.  
Пусть остылой жизни чашу  
Тянет медленно другой:  
Мы ж утратим юность нашу  
Вместе с жизнью дорогой;  
Каждый у своей гробницы  
Мы присядем на порог;  
У пафосския царицы  
Свежий выпросим венок,  
Лишний миг у верной лени,  
Круговой пальцем сосуд —  
И толпою наши тени  
К тихой Лете убегут.  
Смертный миг нам будет светел;  
И подруги шалунов  
Соберут их легкий пепел  
В урны праздные пиров.

Стихи поразительно автобиографичны. И вместе с тем перед нами не Пушкин, а его греческий «двойник»; поэт перевоплотился в юного эллина, беспечного и мудрого, готового спокойно встретить небытие.

Огромная жизненная энергия молодого Пушкина рвется наружу в его послании к Кривцову; она прорывалась и в столичном круговороте поэта — в поисках новых знакомств и неизведанных еще ощущений. Александр Тургенев остерегал поэта, корил его за небрежение к собственному таланту. Пушкин был непоколебим; он ответил дружеским посланием, полемически утверждая, что

Поэма никогда не стоит  
Улыбки сладострастных уст.

Стихи не умилили Александра Тургенева; 12 ноября 1817 года он писал Жуковскому, что ежедневно бранит Пушкина-Сверчка за его леность, за площадное волокитство и за «вольнодумство, также площадное, 18-го столетия».

Александр Иванович тоже был вольнодумцем. Но его вольнодумство не было площадным. «Кишкой последнего попа последнего царя удавим», — молва приписывала перевод этого французского изречения Пушкину. Подобное вольнодумство не находило отклика у Александра Ивановича; чуждо оно было и Николаю Ивановичу. Разномыс-

лие братьев Тургеневых с Пушкиным приводило порой к резким столкновениям мнений.

По своей натуре Александр и Николай Тургеневы во многом отличались друг от друга и спорили они с Пушкиным по-разному.

Добродушный толстяк Александр Тургенев хватался за все и ничего не доводил до конца. Его натуре свойственна была незавершенность — словно журнальная статья, под которой подписано: «продолжение впрод».

Он пытался пайти свое призвание в исторической науке. Не хватило усидчивости и терпения; ошибся профессор Геттингенского университета Шлецер, который пророчил ему блестящее будущее: историка из него не получилось.

Он пытался стать литератором; написал несколько статей и забросил это ремесло. Свою потребность писать он удовлетворял в письмах к друзьям, обширных и остроумных. У него был меткий и наблюдательный ум, слог отчетливый и самостоятельный. Но писатель из него пока не получился.

Он пытался стать государственным человеком. Здесь ему, казалось, везло. Он получал должности, чины, награды. Но стать исполнительным чиновником он не смог.

Мягкий от природы, Александр Тургенев журил Пушкина.

Всегда подтянутый, слегка хромающий Николай Тургенев ярава был властного и крутого. Он был строг к окружающим; крепостников именовал хамами; осуждал тех, кто не осуждал хамов.

Он был строг к Пушкину. Легкомыслие поэта казалось ему непростительным, его политический радикализм — мальчишеской буффонадой.

Поэтический талант Пушкина он ценил: «У нас есть теперь молодой поэт, Пушкин, кот<орый> точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду».<sup>1</sup>

Талант не искупал в глазах Николая Тургенева мальчишество поэта; в их спорах проскальзывало раздражение, а порой даже неприязнь.

<sup>1</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 235 (письмо от 16 октября 1817 года).

Десять лет спустя, в 1827 году, Александр Тургенев вспоминал, что как-то Николай Иванович упрекал поэта за его эпиграммы противу правительства, говорил, что нельзя брать ни за что жалованье и ругать того, кто дает его. Пушкин вспыхнул и вызвал Николая Тургенева на дуэль. До поединка дело не дошло; Пушкин одумался и прислал письмо, просил извинить его за горячность.

Братья Тургеневы жили на Фонтанке; из окон их квартиры был виден Михайловский замок, последняя резиденция Павла I. Разговоры о свободе, воспоминания о тревожном дне 11 марта 1801 года распалая воображение Пушкина. Однажды вечером на квартире братьев Тургеневых он стал писать оду «Вольность». Николай Тургенев сообщал позднее П. И. Баргеву: «У меня никаких писем Пушкина не было и нет. Есть стихи, его рукою написанные, например, его ода „Вольность“, которую он в половине сочинил в моей комнате, ночью докончил и на другой день принес ко мне написанную на большом листе».<sup>2</sup>

Беги, сокройся от очей,  
Цитеры слабая царица!  
Где ты, где ты, гроза царей,  
Свободы гордая певица?  
Приди, сорви с меня венок,  
Разбей изнеженную лиру...  
Хочу воспеть свободу миру,  
На тронах поразить порок.

«Вольность» ошеломила братьев Тургеневых. Перед ними сидел Пушкин-Сверчок, которого они без устали порицали за легкомыслие, за «изнеженную лиру». И вот на их глазах произошло чудо, — в стихах Пушкина слышались исторические раздумья и политические лозунги Николая Тургенева. Сопоставление текста «Вольности» с дневниковыми записями Николая Тургенева за август — сентябрь 1817 года позволило современному исследователю утверждать, что «ода возникла как ответ на политический заказ Н. И. Тургенева» и что «она явилась поэтически точным выражением новых программных требований левого крыла „Арзамаса“. Все это дает основание рассматривать „Вольность“ как один из самых замечательных документов участия Пушкина в „Арзамасе“, его единомыслия с Орловым и Тургеневым, стремившимися

<sup>2</sup> Звенья. Т. VI. Л., «Academia», 1936, стр. 149.

придать литературному обществу политическое направление и связать его деятельность с задачами и целями тайного общества».<sup>3</sup>

Инициативу в этом направлении проявил и М. Ф. Орлов. Анализируя мемуары Ф. Ф. Вигеля, М. К. Азадовский убедительно предположил, что М. Ф. Орлов произнес в «Арзамасе» не одну речь, запесенную в протоколы общества, а две; именно ко второму выступлению Орлова относится следующий отрывок из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля: «... он (Орлов, — М. Г.) находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного».<sup>4</sup>

Ни об увеличении числа членов, ни о создании филиалов «Арзамаса» в сохранившейся речи Орлова нет ни единого слова. Следовательно, прав М. К. Азадовский, считающий, что Орлов произнес две речи в «Арзамасе».<sup>5</sup> Правда, эти предложения не были приняты; по проекту устава общества, как мы помним, предполагалось ограничить число членов «Арзамаса» — не более 25. Явно, что в этом вопросе Орлов потерпел поражение. Но как бы там ни было, предложение Орлова обсуждалось в «Арзамасе», и Пушкин не мог не быть в курсе этого радикального плана.

Владыки! вам венец и трон  
Дает закон — а не природа;  
Стойте выше вы народа,  
Но вечный выше вас закон.

И днесь учитесь, о цари:  
Ни наказанья, ни награды,  
Ни кров темниц, ни алтари  
Не верны для вас ограды.  
Склонитесь первые главой

<sup>3</sup> С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг. — В кн.: Пушкин и его время. Вып. 1. Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 113; об этом см. также: Гомашевский, стр. 142—172; В. В. Пугачев. Предыстория Союза Благоденствия и пушкинская ода «Вольность». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. М.—Л., Изд. АН СССР, 1962, стр. 92—139.

<sup>4</sup> Вигель, т. 2, стр. 112.

<sup>5</sup> Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, стр. 632—633.

Под сень надежную закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Так закончил Пушкин оду «Вольность». Стихи были опасными. В стране набирала силу аракатеевщина; обстоятельства требовали осторожности.

Осторожность не была добродетелью молодого Пушкина. Он переписал стихотворение и вручил его княгине Евдокии Ивановне Голицыной.

Простой воспитанник природы,  
Так я, бывало, воспевал  
Мечту прекрасную свободы  
И ею сладостно дышал.  
Но вас я вижу, вам внимаю,  
И что же?.. слабый человек!..  
Свободу потеряв навек,  
Неволю сердцем обожаю.

Мадригал оттенял оду, ода оттеняла мадригал. К счастью, княгиня Голицына была умной и предусмотрительной женщиной. Она оказалась осторожнее Пушкина — она запрятала стихи подальше от любопытных глаз. Не разгласили стихи и братья Тургеневы. Распространение оды «Вольность» началось лишь в 1819 году.<sup>6</sup>

Пушкин все чаще проводит время в обществе Жуковского; размышления влекут к спорам, споры вызывают размышления. На взыскательный суд Светланы отдает Пушкин свои новые стихи.

Однажды Пушкин зашел к Тургеневым. Во время беседы слуга принес новый портрет Жуковского. И тут же Пушкин написал экспромт:

Его стихов пленительная сладость  
Пройдет веков завистливую даль,  
И, внемля им, вздохнет о славе младость,  
Утешится безмолвная печаль  
И резвая задумается радость.

«Тургенев был вне себя от радости и показывал мне с добродушною гордостью стихи, только что начертанные питомцем Лицея», — вспоминал А. С. Стурдза.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Подробнее об этом см.: Из материалов к III изданию книги Н. О. Лернера «Груды и дни Пушкина». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV, стр. 397—399.

<sup>7</sup> Москвитянин, 1851, № 21, стр. 15.

Общение с Пушкиным сулило Александру Ивановичу вечную смену счастливых и тревожных дней: сегодня — новое стихотворение, завтра — увлекательная беседа, поездка по Финскому заливу в обществе Карамзина и Жуковского, послезавтра — и след простыл.

«Третьего дня ездил я к животворящему источнику, то есть к Карамзиным в Царское Село, — писал Тургенев Вяземскому. — Там долго и сильно доносил я на Пушкина. Долго спорили меня, и он возвращался, хотя тронутый, но вряд ли исправленный».<sup>8</sup>

Тургеневу вторил Батюшков: «Не худо бы его запелить в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!».<sup>9</sup>

Молочному супу Пушкин предпочитал шампанское, Геттингену — Петербург.

Пока же беда наступила не Пушкина, а самого Батюшкова — у него обнаружили признаки душевной болезни. Врачи советовали переменить обстановку, уехать в теплый климат. При содействии арзамасских друзей Батюшков получил назначение в русское посольство в Неаполе.

«Вчера проводили мы Батюшкова в Италию, — писал Александр Тургенев 20 ноября Вяземскому. — Во втором часу, перед обедом, К. Ф. Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал *impromptu*,<sup>10</sup> которого посылать нельзя, и в девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились».<sup>11</sup>

Грустное предчувствие не обмануло друзей; больше им не довелось видеть Батюшкова в здравом рассудке.

На проводы собрались все близкие Батюшкову люди: Екатерина Федоровна Муравьева, тетка поэта; арзамасцы Пушкин, Жуковский, Никита Муравьев, «оленист» Гнедич; дипломат и ученый Павел Львович Шиллинг; один

<sup>8</sup> ОА, т. 1, стр. 119 (письмо от 4 сентября 1818 года).

<sup>9</sup> Русский архив, 1867, стб. 1534—1535 (письмо от 10 сентября 1818 года).

<sup>10</sup> Экспромт (*фр.*).

<sup>11</sup> ОА, т. 1, стр. 150.

из умнейших людей того времени, будущий декабрист Михаил Сергеевич Лунин и его сестра Екатерина Сергеевна, племянница Муравьевой.

Пушкин прочел экспромт; стихи утрачены, содержание их неизвестно, но ясно одно — экспромт был политически острым, ибо Тургенев пояснял Вяземскому: «посылать нельзя».

Пушкин не стеснялся в выражениях, и его острые словечки врезывались в память. 13 октября 1818 года Николай Тургенев писал в Париж Сергею: «...сравнивая недавно наш век с веком Екатерины, мы нашли, что тогда было более умных и истинно смелых людей, чем теперь. Беда, как мы в просвещении пойдем назад. По крайней мере итти недалеко. „Мы на первой станции образованности“, — сказал я недавно молодому Пушкину. „Да, — отвечал он, — мы в Черной Грязи“». <sup>12</sup>

Черная Грязь — первая станция на почтовом тракте Москва—Петербург. На сотни верст отстала Россия на пути просвещения! Эту горькую истину знали многие; время требовало действий.

В 1818 году возник Союз Благоденствия, тайная организация декабристов. По его уставу намечалось создавать легальные общества для пропаганды передовых идей. И вот Николай Тургенев, член Союза Благоденствия, организует «Общество 19 года XIX века»; оно должно было издавать журнал «Россиянин XIX века».

«Главная цель сего, — писал он 24 января 1819 года брату Сергею, — состоит в том, чтобы распространять у нас здравые идеи политические. Для сего составные части журнала будут: Политика. Пол<итическая> эконом<ия>. Финансы. Юриспруденция. История. Философия. Сия последняя статья будет состоять из рассуждений о воспитании и из литературы. Я сообщил мою идею Куницыну. Он ее принял. Сверх того присовокупилось к нам несколько молодых людей, бывших воспитанников лицей и несколько офицеров. Из них мало умеющих писать хорошо. Но все вообще имеют хорошие правила и охоту. Жуковский участвует по литературе. Я много надеюсь на корреспондентов, в особенности на к<нязя> Вяземского». <sup>13</sup>

<sup>12</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 267.

<sup>13</sup> Там же, стр. 273—274.

Из арзамасцев намечалось участие Пушкина, Никиты Муравьева, Жуковского, Вяземского и, разумеется, самого Николая Тургенева.

Из лицейстов получили приглашение — кроме Пушкина — Иван Пушин, Вильгельм Кюхельбекер, Дмитрий Маслов. Из офицеров — Федор Глинка, Бурцов, Колошин. В журнале должен был участвовать Шаховской! Тот самый Шаховской, с которым некогда воевали арзамасцы. Умолкли битвы «Арзамаса» с «Беседой». Шаховской находился в зените славы, его комедии постоянно шли на сцене; и Николай Тургенев не счел зазорным поставить его имя рядом с именем Жуковского и Вяземского. Разноликая изящная словесность обеспечит успех у читателей, поможет проскользнуть сквозь цензуру, резонно полагал он.

На подготовительное заседание журнального общества Николай Тургенев пригласил немногих: Куницына, Никиту Муравьева, Федора Глинку, Пущина, Маслова. Негаданно зашел Пушкин. За столом сидели вольнодумцы и горячие головы. Поэт решил, что он напал на след тайного общества, о котором кругом говорили, он мечтал вступить в него.

«Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала, — вспоминал Пушин. — Тут, между прочим, был Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! „Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле“, — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

„Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!“

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им

отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно». <sup>14</sup>

На квартире Николая Тургенева Пущин очутился неспроста. И вместе с тем большого обмана он действительно не совершил. Шло заседание журнального общества, а не Союза Благоденствия.

К словам Пущина Пушкин отнесся недоверчиво. Но вскоре он сам получил приглашение сотрудничать в «Россиянине XIX века». Пришлось поверить лицейскому другу.

Сеять просвещение в дремотных просторах самодержавной вочины оказалось занятием не из легких; «Россиянин XIX века» так и не родился на свет.

«Если бы слабый луч надежды не таился еще в сердце моем, — писал позднее Н. И. Тургенев Вяземскому, — то я давно бы не смотрел на этот снег и на эту *нравственную* стужу, которую бы надобно описать не Хераскову, а вам или Пушкину: „Описание нравственной зимы“. Право, есть от чего замерзнуть!». <sup>15</sup>

«Нравственную стужу» Пушкин стремился растопить политическими эпиграммами и поэмами, поэмой «Руслан и Людмила».

«Пушкин уже на четвертой песне своей поэмы, которая будет иметь всего шесть. То ли дело, как двадцать лет ему стукнет! Эй, старички, не плошайте!» <sup>16</sup> — подзадоривал Вяземского Александр Тургенев.

В феврале 1818 года Пушкин слег; болезнь пошла на пользу поэме. Досуг располагал и к поэтическим трудам, и к размышлениям о смысле жизни. Как дальше жить? Поэт решил бросить статскую службу и идти в военную: «Пушкин, которого вчера видел у княгини Голицыной <...> не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною, — писал Тургенев в Варшаву. — Я имею надежду отправить его в чужие края, но он уже и слышать не хочет о мирной службе». <sup>17</sup>

Но ни военным, ни дипломатом Пушкин не стал.

22 февраля А. И. Тургенев получил звание камергера. В 1815 году он мечтал о такой милости для брата, но

с тех пор многое переменялось в любезном отечестве, и переменялось к худшему; милость оказалась не ко времени, и Александр Иванович не скрывал от близких своей досады; знал о ней, конечно, и Пушкин. Поэт сообщил ему первые строки своего послания:

В себе все блага заключаю,  
Ты, наконец, к ключам от рая  
Привяжешь камергерский ключ. <sup>18</sup>

Ключи от рая — намек на участие Александра Ивановича в работе Библейского общества; камергерский ключ — уже не намек, а всамделишный ключ, который камергеры носили на фалдах мундира.

Каламбур удался, но им все и ограничилось. Если б Александр Иванович ликовал, было бы где разгуляться перу. Увы! — повоявленный камергер сам иронизировал над царской милостью; послание заранее лишалось «изюминки», и Пушкин не стал продолжать его.

Наступило лето 1819 года. Пушкин торопился в Михайловское. Сидя на чемоданах, в последнюю минуту он писал Александру Ивановичу:

«Очень мне жаль, что я не простился ни с вами, ни с обоими Мирабо» (XIII, 10; письмо от 9 июля 1819 г.).

Имя оратора, деятеля Великой французской революции Оноре-Габриеля-Виктора Мирабо символизировало свободу. В анонимной эпиграмме XVIII века оно присвоено Радищеву, автору крамольного «Путешествия из Петербурга в Москву»:

Езда твоя в Москву со истинною сходна,  
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна;  
Я слышу, на коней ямщик кричит: «Вирь, вирь!»  
Звать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.

Кого же подразумевал Пушкин под «обоими Мирабо»? Речь идет о Николае и Сергее Тургеневых, единодушно указывают комментаторы. Мнение это ошибочно: Сергея Тургенева уже несколько лет не было в России; его знакомство (личное, а не заочное) с Пушкиным состоялось позднее, в начале 1820 года, — следовательно, его имя отпадает. Возвести в чин русских Мирабо Пушкин мог трех лиц: Николая Тургенева, Никиту Муравьева, Федора

<sup>18</sup> Там же, стр. 210.

<sup>14</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., Гослитиздат, 1956, стр. 71—72.

<sup>15</sup> ОА, т. 2, стр. 22.

<sup>16</sup> Там же, т. 1, стр. 160 (письмо от 3 декабря 1818 года).

<sup>17</sup> Там же, стр. 202.

Глинку, — все трое славились красноречием в пользу свободы. Судя по адресату письма, Пушкин скорее всего подразумевал арзамасцев Николая Тургенева и Никиту Муравьева.

Наспех написанные строчки отосланы на Фонтанку; лошади умчали Пушкина в Михайловское.

Прошло лето.

В середине августа 1819 года Тургенев навестил Карамзиных в Царском Селе и встретил у них Сверчка: «...явился обритый Пушкин из деревни и с <пятою> песнью. Здесь я его еще не видал, а там он, как бес, мелькнул, хотел возвратиться со мною и исчез в темноте ночи, как привидение».<sup>19</sup>

Неделю спустя Александр Иванович ездил с Пушкиным к Карамзиным и к Жуковскому. «Из Царского Села свез я ночью в Павловск Пушкина, — писал он Вяземскому. — Мы разбудили Жуковского. Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра. Потом принялись мы читать новую литургию Жуковского, при сем к вашему святейшеству прилагаемую, и панихиду его чижикю графини Шуваловой, коей последние два стиха прелестны. Поутру первым делом нашим было читать твое „Послание к Дмитриеву“ и карандашом отмечать то, что нам не нравилось. Жуковский обещал доставить мне его с нашими замечаниями при своем письме к тебе. Я ожидаю этого, но еще не получил, а завтра *стафета* к вам отправляется. <...>

Прислал ли я тебе „Деревню“ Пушкина? Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения на счет псковского хамства. Дорогой из Царского села в Павловск писал он послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил. Что из этой головы лезет! Жаль, если он ее не сносит! Он читал нам пятую песню своей поэмы, в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый».<sup>20</sup>

Непринужденно и размашисто жили арзамасцы. Полночное вторжение было им не в диковинку. При свечах оживленнее текла беседа, удачнее строились гримасы, счастливее набегали строчки. Смеялся поднятый с постели

Жуковский, слыша импровизацию о себе и павловских фрейлинах. Нам же не дано посмеяться вместе с ним: дорожный экспромт Пушкина не сохранился.

Строки о «псковском хамстве» — это, конечно, гневные строки «Деревни»:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,  
Присвоило себе пасишьветной лозой  
И труд, и собственность, и время земледельца.  
Склонись на чуждый плуг, покорствуя бичам,  
Здесь рабство тощее влачится по браздам  
Неумолимого владельца.

Отмена крепостного права была центральным пунктом в радикальной программе Николая Тургенева. В книге «Опыт теории налогов» Николай Тургенев утверждал, что «стремлению к образованности и к благосостоянию» Росспи препятствует существование рабства. 2 апреля 1818 года он писал брату Сергею: «Но у нас есть рабство, которое не должно и следов даже оставить, прежде нежели народ российский получит свободу политическую: сперва все должны быть равны в правах человеческих. Это равенство важнее и существеннее всякого другого!».<sup>21</sup>

«Впечатления Пушкина от бесед на темы о положении крестьян, какие постоянно велись в доме Тургеневых, получили подкрепление от посещения Михайловского летом 1819 г., когда он воочию увидел взаимоотношения помещиков и крепостных крестьян».<sup>22</sup>

Строки о «псковском хамстве» насторожили Александра Тургенева. Даже ода «Вольность» казалась ему теперь чересчур смелой. «Пушкин переписал для тебя стансы на <свободу>, — сообщал он Вяземскому 22 октября 1819 года, — но я боюсь и за него, и за тебя послать их к тебе. Les murs peuvent avoir des yeux et même des oreilles».<sup>23</sup>

Александр Тургенев, влиятельный чиновник министерства просвещения, раньше многих осознал, что Александр I с каждым годом становился самодержавнее и деспотичнее, что все большую власть в государстве захватывали

<sup>21</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 255.

<sup>22</sup> Томашевский, стр. 186.

<sup>23</sup> Стены могут иметь глаза и даже уши! (фр.). — См.: ОА, т. 1, стр. 335.

<sup>19</sup> Там же, стр. 293.

<sup>20</sup> Там же, стр. 295—296.

вал Аракчеев. По всей вероятности, он делился с Пушкиным своими нерадостными наблюдениями.

12 ноября 1819 года Александр Иванович доносил Вяземскому: «... беснующийся Пушкин печатает уже свои мелочи, как уверяют меня книгопродавцы, ибо его мелком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее cavalier servant;<sup>24</sup> наблюдает между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит gratis».<sup>25</sup>

В последней фразе письма — отголосок острого слова Пушкина; скоты, которых поэт лицезрел бесплатно, — это светская чернь; сравнение зверинца со светским Петербургом не в пользу света.

Свободолюбивые стихи Пушкина заполнили столицу. Незримая тень полицейской слежки неуклонно шла по пятам поэта. Братья Тургеневы забеспокоились. У них вновь возникла мысль хлопотать для Пушкина спокойное место в чужих краях по дипломатической части; ведь поэт числился по Коллегии иностранных дел.

Вскоре этот план рухнул. 20 апреля Николай Тургенев писал брату Сергею в Москву: «О помещении Пушкина теперь, кажется, нельзя думать. Некоторые из его стихов дошли до Милорадовича, и он на него в претензии. Надеяться должно, однако же, что это ничем кончится».

«Пушкина дело кончилось очень хорошо, — сообщил три дня спустя Николай Тургенев брату. — У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича. Как сей последний, так и сам государь, сказали, что он ничего не должен опасаться, и что это ему не повредит и по службе. Он теперь собирался ехать с молодым Раевским в Киев и в Крым».<sup>26</sup>

В письме все ясно и просто; в жизни все было сложнее и головоломнее.

Друзья предупредили Пушкина об обыске; поэт унич-

<sup>24</sup> Рыцарем (*фр.*).

<sup>25</sup> Даром, бесплатно (*лат.*). — См.: ОА, т. 1, стр. 350.

<sup>26</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 299.

тожил опасные стихи, однако он понимал: можно сжечь улики, но слава вольнодумца неотвратима. Да он и не хотел отворачивать ее!

При свидании с Милорадовичем, военным губернатором Петербурга, Пушкин исписал целую тетрадь крамольными стихами. Он пошел навстречу опасности.

Александр I любил думать, что он рыцарь на троне, — эпиграммы аттестовали его отнюдь не рыцарем без страха и упрека; поэту грозила крепость или Соловки.

И тут вмешались друзья. Карамзин надел свои регалии и отправился во дворец. Пушкина перевели на юг.

## Глава шестая

От окончания Лицея до высылки на юг прошло три года. С многими примечательными людьми сблизился Пушкин в столице; среди новых знакомых поэта — и участники раннего оленинского кружка.

Вежливый и предупредительный Гнедич по-прежнему служил в императорской Публичной библиотеке и продолжал переводить Гомера. Некрасивая наружность постоянно уязвляла его самолюбие. Он пытался скрасить ее ухищрениями моды. Одевался по последним парижским картинкам; тщательно завивал волосы; шею повязывал платком, «коего стало бы на три шеи». При изысканном костюме и искусной прическе особенно выдавались изъязы изрытого оспой лица.

Гнедич был отменным чтецом. Его неистовое, страстное чтение одушевляло литературные вечера столичных салонов.

Вдохновенный театральный педагог, Гнедич имел счастливый талант пестовать чужие таланты; верной ученицей его стала молодая Семенова.

Дочь крепостной, Екатерина Семенова училась в Театральном училище в Петербурге под руководством знаменитого актера Дмитревского. Вторым ее учителем стал князь Шаховской; под его присмотром готовила она роль Антигоны в трагедии «Эдип в Афинах». Позднее Пушкин восторгался ее исполнением в пьесах Озерова.

Там Озеров невольны даны  
Народных слез, рукоплесканий  
С молодой Семеновой делил...

Третьим ее наставником стал Гнедич. Изю дня в день, из месяца в месяц, из года в год приходила Семенова в его скромную казенную квартиру в здании Публичной библиотеки. С восхищением глядел на нее Гнедич и не мог наглядеться. «...природа наделила ее редкими сценическими средстами: строгий, благородный профиль ее красивого лица напоминал древние камеи; прямой пропорциональный нос с небольшим горбом, каштановые волосы, темно-голубые, даже синеватые глаза, окаймленные длинными ресницами, умеренный рот — все это вместе обаятельно действовало на каждого при первом взгляде на нее. Контральтовый, гармоничный тембр ее голоса был необыкновенно симпатичен и в сильных патетических сценах глубоко проникал в душу зрителя».<sup>1</sup>

Бюст Гомера. Овальный стол с грифонами. На столе разложены гравюры, книги, рисунки.

Гнедич и Семенова беседуют о новой роли. Образ героини должен быть достоверен во всем, вплоть до складок одежды. По просьбе Гнедича Оленин делает кропотливые разыскания, добывает археологические детали, набрасывает рисунки. Обширные познания Гнедича и Оленина, собственная обостренная интуиция помогают Семеновой стать первоклассной артисткой. Гнедич требует: дикция, интонация, жесты — все должно быть безупречно.

Педагогическая энергия Гнедича отшлифовала талант Семеновой.

«Пьеса, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее».

Так пометил Гнедич на пушкинском автографе «Мои замечания об русском театре». Сам Гнедич, как известно, был влюблен — и тоже безответно — в Семенову. Сочувствовал ли он Пушкину или радовался его поражению? Скорее всего, ему было приятно, что не только он, с его неказистой внешностью, но и Пушкин, имевший успех у женщин, потерпел поражение при попытке вскружить голову Семеновой.

Пушкин собрался писать о трагедии, комедии, опере и балете; успел написать лишь о трагедии. Высылка из

<sup>1</sup> П. Каратыгин. Записки. Л., изд. «Искусство», 1970, стр. 115—116.

Петербурга помешала закончить статью. Ему хотелось, чтобы Семенова прочла панегирик ее таланту. Семенова прочла и отдала рукопись Гнедичу; она не знала, что отдавала ему свой патент на бессмертие.

«Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Иоанны; она одушевила измеренные строки Лобанова; в ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией. В пестрых переводах, составленных общими силами и которые, по несчастью, стали нынче слишком обыкновенны, слышали мы одну Семенову, и гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиночке. Семенова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились, она осталась единодержавною царицею трагической сцены» (XI, 10—11).

Пушкин несправедлив к Гнедичу. Он, «вечно восторженный поэт», образовал талант Семеновой. Обидны были ему пренебрежительные строки Пушкина. Но за пылкий дифирамб Семеновой он готов был простить невыгодное мнение о нем, бескорыстном учителе русской Трагедии, — так называли артистку ее поклонники.

Пройдут годы. Пушкин вернется в Петербург и навещает Гнедича. Они будут беседовать дружелюбно, как старые приятели. Вспомнят добрым словом «лампистов» (участников «Зеленой лампы»), поговорят о Семеновой, которая к тому времени станет княгиней Гагариной и покинет сцену. Но Пушкин никогда не узнает, что его юношеская статья о театре покоится среди черновиков переводчика Гомера. Восторженный поэт Гнедич умел быть сдержанным и скрытным.

Впрочем, сдержанным иногда умел быть и Пушкин. В его отношении к Гнедичу проскальзывали такие оттенки, о которых переводчик «Илиады», по-видимому, и не подозревал. Пушкин был арзамасцем, а в «Арзамасе» о Гнедиче можно было услышать и нелестные мнения. Правда, по совету Уварова Гнедич переводил Гомера гекзаметром; правда, Батюшков дружил с Гнедичем; и тем не менее в «Арзамасе» творчество Гнедича вызывало порой скептические суждения. В арзамасских протоколах и в письмах арзамасцев неоднократно встречаются насмешливые отзывы о Гнедиче. Вспомним, наконец, позднейшую эпиграмму Пушкина. Ведь не случайно за месяц до написания панегирического двустипхия «На перевод Илиады» Пушкин отозвался эпиграммой на окончание Гнедичем его многолетнего труда:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,  
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Вряд ли эта эпиграмма была вызвана лишь каламбурным стечением обстоятельств (Гомер был слеп, а Гнедич — крив). Скорее всего это было импульсивным, минутным проявлением давнишнего — еще со времен «Арзамаса» — слегка иронического восприятия творчества и личности Гнедича.

Пушкин тщательно зачеркнул эпиграмму — не только Гнедич, но никто из их современников, по всей вероятности, не знал ее.

Между тем 6 января 1830 года в «Литературной газете» анонимно была напечатана заметка Пушкина:

«Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частью устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие, — с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительно труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами» (XI, 88).

В начале 1830-х годов, когда Пушкин энергично выступает против «торгового направления» в литературе, он ставит в пример современникам «бескорыстное вдохнове-

ние» Гнедича, противопоставляет его творческий путь легким успехам писателей, которые превращали литературу в «толкучий рынок». Но в заметке Пушкина не только полемический выпад против продажных журналистов. К этому времени Пушкин, оставив далеко позади свое увлечение романтизмом, станет еще больше ценить строгость форм античной поэзии. В «Северных цветах» на 1829 год появятся отрывки из «Илиады» в переводе Жуковского; Гнедич, много лет трудившийся над переводом «Илиады», усмотрит в этом обидное к себе отношение со стороны Дельвига, издателя «Северных цветов». И хотя этот эпизод испортит отношения между Гнедичем и Дельвигом, Пушкин будет восторженно приветствовать выход в свет «Илиады» в переводе Гнедича.

Заметка Пушкина усладила Гнедича. «Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так утешительно и сладко!» — писал Гнедич Пушкину (см.: XIV, 55).

Однако пора вернуться к временам «Зеленой лампы», к общим знакомым Пушкина и Гнедича, о которых они не раз вспоминали, беседуя на казенной квартире Гнедича при Публичной библиотеке.

«Ламписты» в театре всегда сидели в левой части кресел, за что их называли «левым флангом». Их мнение создавало и разрушало актерские репутации.

«Знакомство мое с А. С. Пушкиным — писал П. А. Катенин, — началось летом 1817 года. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию; кресла мои были с правой стороны во втором ряду; в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди, мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пиесы и проходя мимо меня, остановился он, чтобы познакомиться с молодым человеком, шедшим с ним вместе.

„Вы его знаете по таланту, — сказал он мне, — это лицейский Пушкин“.

Я сказал новому знакомцу, что к сожалению послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны Гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие края; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись».<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Литературное наследство, т. 16—18. М., 1934, стр. 635.

Длинные холеные пальцы, каждый из которых мог быть перстом указующим. Взгляд взыскательный и лукавый; улыбка насмешливая и ядовитая. Таким предстал перед Пушкиным новый знакомый его, Павел Александрович Катенин. Отпрыск небогатой старинной дворянской фамилии, он родился в 1792 году. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, решено было послать его искать счастья в столицу. Летом 1806 года Катенина привезли в Петербург и устроили на службу в министерство народного просвещения. Штатские занятия оказались ему не по душе; четыре года спустя он поступает в Преображенский полк. Там он сближается с Мариным и другими офицерами, имевшими влечение к словесности; в журналах появляются первые стихотворения его, а сам сочинитель начинает посещать салон Оленина. В феврале 1811 года в Петербурге состоялась премьера трагедии Тома Корнеля «Ариадна». Перевел пьесу Катенин.

«Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке. <...> У него было странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов и вступить с оружием в руках. Если б он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом».<sup>3</sup>

Пушкин был изрядно наслышан об авторской цепетливости Катенина, о его неистребимой страсти поучать других, о том, что самого себя он почитал непогрешимее папы римского.

Катенин отлично знал французский, немецкий, итальянский и латинский языки; хорошо понимал английский и немного греческий. Памятью отличался необыкновенной и слыл у современников своих живой энциклопедией. Иноземные словесности знал отменно — и древние, и новейшие. И при всем том — а может быть, благодаря подобной эрудиции — вкус у Катенина был старомодный. Вольнодумец, участник ранних декабристских организаций, автор дерзкого антимонархического гимна, Катенин вместе с Грибоедовым и Кюхельбекером занимал обособ-

ленную литературную позицию. Со времени талантливых исследований Ю. Н. Тынянова их обычно именуют младархаистами, в отличие от старших архаистов — Шишкова, Ширинского-Шихматова и других беседчиков.

Старшие архаисты совмещали архаистическую литературную позицию с общественной реакционностью, младархаисты тяготели к оппозиции и революции; их коренное различие и заключается в их диаметрально противоположной общественной направленности. В то же время их объединяет архаистическая литературная теория, которая, по справедливому выводу Ю. Н. Тынянова, «была вовсе не необходимо связана с реакцией александровского времени. Самое обращение „к своенародности“ допускало сочетание с двумя диаметрально противоположными общественными струями — официальным повинизмом александровской эпохи и радикальным „народничеством“ декабристов. Борьба за высокие жанры, с одной стороны, за просторечие против маньеризма — с другой, могла сочетаться с борьбой против аристократической кружковщины в литературе, против изящной, но небольшой „литературы для немногих“, и в этом смысле как нельзя более подходит к радикальной общественной позиции 20-х годов (в этом направлении действовал Кюхельбекер)».<sup>4</sup>

Пристрастие к славянщине Пушкин почитал анахронизмом, — кто бы ни был подвластен этому влечению. Вместе с тем кое-что не грех было позаимствовать и у Катенина. Нагая простота и грубость выражений в его балладах оттеняли изысканность стиля Жуковского. Поэтическая полифония, к которой стремился Пушкин, требовала, наряду с гармонической мелодией школы Жуковского — Батюшкова, и энергических аккордов катенинской музыки.

«Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи», — сказал Пушкин Катенину при их первой встрече.

Исторический Диоген действительно стал учеником Антисфена.

Но Пушкин не стал и не собирался становиться послушным учеником Катенина. Он не следовал советам

<sup>4</sup> Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., «Наука», 1968, стр. 35.

<sup>3</sup> Вигель, т. 1, стр. 355—356.

нареченного им Антифена даже тогда, когда тот уличал его в оплошности. Катенину показался несуразным эпизод, в котором Руслан, не найдя себе меча по руке, продолжает путь. «Мне вспомнился стих Горация: как гора родила мышь, и я спросил у Пушкина, над кем он шутит? Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не рассказывать. Я отвечал, что буду молчать по дружбе, но моя скромность поможет ему ненадолго и когда-нибудь догадаются многие».<sup>5</sup>

Можно себе представить, как выходил из себя законенный проповедник: Пушкин, не в пример Диогену, отмахнулся от его поучений. А ведь он, Катенин, был прав!

И вместе с тем Пушкин отдавал ему должное; он ценит в нем заядлого театрала, знатока сцены, драматурга, переводчика Расина и Корнеля.

Здесь наш Катенин воскресил  
Корнеля гений величавый

— напишет Пушкин в первой главе «Евгения Онегина».

Был Катенин и театральным педагогом, наставником Василия Каратыгина и Александры Колосовой.

Первые выступления Колосовой на сцене принесли ей успех. «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась на поприще Мельпомены, — писал Пушкин в статье «Мои замечания об русском театре». — Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно — чистая, приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сапеньку Колосову надежной наследницей Семеновой».

Пушкин был своим человеком у Колосовых, палил, путал клубки гаруса в вышивании дочери и карты в гранд-пасьянсе, который раскладывала мать.

Так было вначале; потом все изменилось. По свидетельству Пушкина, Колосова стала усиленно «заниматься» блестящими флигель-адъютантами; успех и эпюлеты вскрыли ей голову. Пушкину она стала оказы-

вать меньше внимания, поэт обиделся и отомстил ей эпиграммой.

Все пленяет нас в Эсфири:  
Упоительная речь,  
Поступь важная в порфире,  
Кудри черные до плеч,  
Голос нежный, взор любви...  
Набленная рука,  
Размалеванные брови  
И огромная нога!

Рикошетом эпиграмма задела и Катенина, переводчика «Эсфири» Расина и учителя Колосовой. Отныне черная кошка пробежала между ними. Говорили, что Катенин изобразил Пушкина в интригане Зельском, героя его комедии «Сплетни». Слух оказался ложным, но почему же он все-таки возник? Нет дыма без огня!

Сложная натура Катенина то притягивала, то отталкивала Пушкина. Гвардейский мундир Катенина странно сочетался с манерами французского маркиза прошлого столетия.

«Мы все по большей части привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей, — писал Пушкин, — Катенин напротив того приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью» (XIII, 366).

О Катенине следовало написать Вяземскому. Вечно его приятели ссорились между собой; Пушкину их разномолвки были неприятны. «...он кажется боится твоей сатирической палицы; твои первые четыре стиха на счет его в послании к Дмитриеву — прекрасны; остальные, нужные для пояснения личности, слабы и холодны — и, дружба в сторону, Катенин стоит чего-нибудь получше и позлее. Он опоздал родиться — и своим характером и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии. Тогда ссора Фрерона и Вольтера занимала Европу, но теперь этим не удивишь; что ни говори, век наш не век поэтов — жалеть, кажется нечего — а все-таки жаль» (XIII, 14—15).

<sup>5</sup> Литературное наследство, т. 16—18, стр. 635—636.

Увещевания Сверчка не убедили Асмодея. И тем не менее письмо Пушкина он читал с наслаждением; фраза о знаменитой ссоре приятно щекотала его самолюбие: правда, ему самому еще далеко до Вольтера, зато Катенин — вылитый Фрерон. И сей карлик посмел вступить в единоборство с Жуковским, — от одной этой дерзости могла закипеть кровь; ведь он, Вяземский, тоже был сыном XVIII века, вспыльчивым, раздражительным, всегда готовым разразиться эпиграммой, пародией, сатирой.

У этих двух противников — Катенина и Вяземского — была одна общая черта: в них обоих гнездилась сектантская нетерпимость; Пушкину была чужда их догматическая узость, он ладил с обоими. Широта взглядов свойственна великим людям. Ни Вяземский, ни Катенин ею не обладали; талант может быть односторонен, гений — никогда.

Гениальность Пушкина проявлялась и в его отношении к людям. Он умел ценить чужие мнения; он умел критически отнестись к своим собственным. Он вечно находился в развитии, в движении. Круг его литературных знакомств постоянно расширялся. Он сторонился лишь продажных перьев да бездарности. И нет ничего удивительного в том, что вскоре он поладил с заклятым врагом «Арзамаса», с Шаховским. Былые ссоры потеряли свою остроту. Жизнь быстро шла вперед. Пушкин попросил Катенина привезти его к Шаховскому.

Хозяин поднялся навстречу гостям. Поэту почудилось, что на него движется Вавилонская башня. Перед ним высился тучный до невообразимости человек. Массивную колонну венчала огромная безобразная голова с блестящей лысиной и клочками торчащих волос по бокам. Щеки одутловатые, хищный ястребиный клюв, чувственный рот, грузный подбородок, изобличавший властную нетерпимость его владельца. Глаза узкие, зоркие, во взгляде иезуитская пронизательность. Когда он заговорил, поэт был крайне удивлен: природа наградила толстяка голосом тонким и пискливым; он бормотал взхлеб, скороговоркой, шепелявя и глотая слова.

Все уселись. Подобно живому холму, возвышалась над столом голова Шаховского. Пушкин невольно припомнил Руслана, объезжающего на коне чудесную голову. Он был рад, что попросил Катенина представить его Шаховскому; не век же было им враждовать.

Шаховской без умолку сыпал театральные новости. В логове вчерашнего врага Пушкин чувствовал себя принужденно и весело.

«Кто-то из их общих знакомых, — вспоминал Катенин, — уже прочитал Шаховскому несколько отрывков из поэмы Пушкина, и князь, страстный любитель Святой Руси, пришел от них в восторг, и также просил меня привести к нему молодого поэта. Радужный прием на первый раз тем приятнее был для гостя, что он за собою знал против Шаховского маленький грешок; когда мы с хозяином простились, и я ночью отвозил товарища до известного угла неподалеку от его квартиры, в санях был разговор, и вот он слово в слово:

*Пушкин.* Знаете ли, что он в сущности очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было.

*Катенин.* Вы так думали, однако писали об этом и разглашали; вот что плохо.

*Пушкин.* К счастью, никто не читал эту школьную пачкотню; как вы думаете, знает ли он что-нибудь о ней?

*Катенин.* Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом.

*Пушкин.* Тем лучше; поступим, как он, и никогда больше не будем говорить об этом.

Ясно, что милому Александру Сергеевичу совестно стало, хотя конечно он неволею погрешил против старика».<sup>6</sup>

Катенин, по всей вероятности, имел в виду послание Пушкина к Жуковскому (1816), в котором отразилось распространявшееся арзамасцами мнение, что Озеров умер из-за козней литературных противников:

Смотрите: поражен враждебными стрелами,  
С потухшим факелом, с недвижными крылами  
К вам Озерова дух взывает: други! мечь!..

Шаховскому приписывали неуспех последней трагедии Озерова, что, как видно из нашего пролога, было несправедливым.

Послание Пушкина к Жуковскому не было тогда напечатано; Катенин, вероятно, читал его в рукописи.

<sup>6</sup> Литературное наследство, т. 16—18, стр. 636; в подлиннике диалог Пушкина с Катениным приведен по-французски.

Последняя фраза Катенина, его резюме несколько озадачивает. Странно представить себе Пушкина, насильно взятого в полон арзамасцами, «неволею» согрепившего против Шаховского. Не менее странно и то, что обычно мнительный и недоверчивый Катенин готов принять за чистую монету слова Пушкина о том, что Шаховской «очень хороший человек».

Конечно, теперь, на исходе 1818 года, у Пушкина не осталось былой непримиримости к автору «Липецких вод»; но предполагать, что поэт круто изменил свое мнение о нем, было бы наивно, тем более что в обществе судачили об угодничестве Шаховского перед сильными мира сего, о его лицемерии и интриганстве. Но у кого нет недостатков? А у Шаховского были к тому же и достоинства — и немалые: он властвовал на русской сцене.

«Никто из русских авторов больше его в то время не писал театральных пьес... И как, бывало, он любил, чтоб около него на репетициях собирался кружок любопытных зрителей! Нужды нет, кто бы они ни были: хористы, фигуранты, даже хоть плотники или лампщики. Он тогда беспрестанно обертывался и наблюдал, какой эффект производит на них его комедия или драма; он, подобно Мольеру, готов был читать свое сочинение безграмотной кухарке».<sup>7</sup>

Порой репетировали на квартире Шаховского. Александр Александрович женат не был. Религиозный пыл не помешал ему устроить домашнее благополучие на свой лад. Подругой его жизни сделалась актриса Ежова, игравшая роли сварливых и болтливых старух. И на сцене и в домашнем быту это было ее истинное амплуа. Многим казалось загадкой, как умный князь Шаховской уживался с нею. Но мало ли на земле подобных загадок?

Репетиции на дому с участием молоденьких воспитанниц театрального училища привлекали в квартиру Шаховского их поклонников, от безусых прапорщиков до самого Милорадовича.

Там самозабвенно спорили о пьесах, об игре артистов, перемывали косточки театральному люду. «Пушкину, обожателю актрис и танцовщиц во время оно, нужно было

сблизиться с Шаховским, который был кулисным чербером и у которого эти барышни по вечерам съезжались».<sup>8</sup>

Чердак Шаховского (драматург занимал верхний этаж старинного особняка, в шутку называвшийся «чердаком») полюбился молодому Пушкину.

За три месяца до своего паломничества к Шаховскому Пушкин вряд ли упустил случай присутствовать на премьере его комедии «Не любо не слушай, а лгать не мешай». Со сцены звучал вольный, живой стих. Комедия имела успех у зрителей. Одним из них был Грибоедов (многие строки «Горя от ума» — сколки с бойких речений Шаховского), другим — Пушкин. В комедии Шаховского действующие лица то и дело упоминают отсутствующего героя: «Онегин, друг ее и родственник по мужу», «Ба, это кажется Онегина рука», «Хоть про Онегина, ты помнишь, нам сказали».

Несколько лет спустя эти строки всплывут в памяти Пушкина, и поэт назовет героя своего романа в стихах Евгением Онегиным.

Шаховской же, воспламененный «Русланом и Людмилой», напишет в 1824 году фантастическое действо:

«На Большом театре

Сего дня во вторник 16 декабря

Российскими Придворными Актерами

представлен будет Финн,

Волшебная комедия в стихах, соч. князем А. А. Шаховским, из эпизода Поэмы Руслана и Людмила (А. С. Пушкина) и в роде Греческой Трилогии, составлена из трех частей, Пролога, Интермедии и окончательного Праздника. — Вся новая музыка пения и общих танцов, мелодрамы и пантомимы г. Кавоса, новые балеты, финские обряды и игры г. Дидло. Все новые декорации г. Кондратьева; машины: новое представление Солнца и Луны, освещение волшебной пещеры фантазмагорическими фигурами и летающими огнями, внезапные появления и полеты г. Тибо; новые финские костюмы г. Бабина».

<sup>7</sup> П. Каратыгин. Записки, стр. 75.

<sup>8</sup> Ноябрь, 1885, № 9, стр. 92 (из письма Вяземского к С. Д. Полторацкому).

А девять месяцев спустя, 28 сентября 1825 года, на том же театре шел

«Керим Гирей  
Крымский Хан,

Романтическая Трилогия в пяти действиях в стихах, с пением, хорами, разными танцами и мелодрамами, соч. князя А. А. Шаховского, содержание взято из Бахчисарайского фонтана А. С. Пушкина, с сохранением многих его стихов... Роль Заремы будет играть г-жа Семенова...».

Нам такое бесцеремонное обращение с произведениями Пушкина кажется дерзким святотатством; в начале же XIX столетия подобные «гибриды» не вызывали ни обиды авторов, ни досады зрителей.

Каждая эпоха имеет свои литературные нравы. Если греческий трагик включал в трагедию стихи своего предшественника, то это считалось не бесчестным плагиатом, а благородным поступком, данью глубокого уважения.

Данью уважения были и сценические вариации Шаховского по поэмам Пушкина. Позднее Шаховской же подает мысль Глинке написать оперу на сюжет «Руслана и Людмилы».

Эта поэма сблизила Пушкина и с Олениным; президент Академии художеств был один из первых, которые признали поэтическое достоинство «Руслана и Людмилы»; по семейному преданию Олениных, Пушкин часто беседовал с Алексеем Николаевичем об искусстве.

В первом издании поэмы — виньетка-сюита Оленина: вверху летящий под небесами Черномор с Русланом — «на бороде герой висит»; пониже изображена зубчатая башня; в центре спящая Людмила, витязь и слуги; внизу Руслан с копьем наперевес перед разъяренной Головой.

«Платье спитое, по заказу Вашему, на Руслана и Людмилу прекрасно, — писал Пушкин Гнедичу, — и вот уже четыре дни как печатные стихи, виньета и переплет детски утешают меня. Чувствительно благодарю почтенного Я; эти черты сладкое для меня доказательство его любезной благосклонности» (XIII, 28).

Дом Олениных запомнился Пушкину первой встречей с Анной Петровной Керн, племянницей Елизаветы Марковны. Шесть лет спустя поэт увидит ее в Тригорском и посвятит ей стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

Потом, по возвращении из ссылки в Михайловское, Пушкин снова начнет бывать у Олениных, влюбится в их младшую дочь Анну и будет безуспешно свататься к ней. Поднадзорный поэт, — пусть он первый поэт России, — не будет сочтен желанным зятем.<sup>9</sup>

Кто думал о подобной развязке, о превратностях судьбы в 1819 году, когда Пушкин читал у Олениных свою поэму? Пожалуй, один Крылов, больше всех испытавший на своем веку, мог предвидеть будущее, — он-то знал, что на пути 20-летнего юноши всегда найдется вдоволь колдобин и ухабов. Конечно, и он не подозревал, что его любимица Анна Оленина, — ей тогда исполнилось одиннадцать лет, — ранит сердце Пушкина.

Поэма Крылову понравилась. И когда на Пушкина напали в журналах, баснописец заступился за него:

*Рецензенту поэмы «Руслан и Людмила»*

Напрасно говорят, что критика легка.  
Я критику читал «Руслана и Людмилы».  
Хоть у меня довольно силы,  
Но для меня она ужасно как тяжка!

В первой строке эпиграммы — намек на известный афоризм Буало: «Критика легка, искусство трудно». Вся эпиграмма построена на переосмыслении этого изречения: писать критику легко, читать ее порой тяжело. Эпиграмма не блещет остроумием, не поражает неожиданной концовкой; она спокойна и правоучительна.

И тем не менее эпиграмма эта поразительна! За живое задела Крылова неодобрительные журнальные отзывы о «Руслане и Людмиле», если он, отошедший от открытой литературной полемики, много лет исповедовавший принцип невмешательства, вдруг нарушил обет молчания. Правда, эпиграмма появилась анонимно, но сия уловка была секретом Полишинеля; среди литераторов имя ее автора сразу же стало известно. Вслед за Державиным Крылов благословлял молодого поэта. В поступке именитого баснописца — и личная приязнь к Пушкину, и одобрение озорной поэмы. Подновленный классицизм — вот

<sup>9</sup> Подробнее об этом см.: Ф. Я. Прийма. Пушкин и кружок Оленина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 229—246; Т. Г. Цявловская. Дневник А. А. Олениной. — Там же, стр. 247—292.

что в «Руслане и Людмиле» привело в восторг его давних adeptов: Гнедича, Оленина, Крылова.

А восемь лет спустя, когда Пушкин дерзнул нарушить каноны трагедии, Крылов, смелый реформатор басни, остался глух к пушкинскому эксперименту. После чтения «Бориса Годунова» на вечере у писателя Алексея Алексеевича Перовского Пушкин спросил Крылова:

«Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши не хороша.

Почему же не хороша? — отвечает он, — а вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: „Не грешно ли вам, — пеняет он ему, — насмеяться надо мною и в присутствии моем уверять, что в божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня“. — „Так что же — возражает проповедник, — для горбатого и ты очень хорош“. — Пушкин расхохотался и обнял Крылова».<sup>10</sup>

Ответ баснописца остроумен и крайне полемичен. Пушкин оценил его по достоинству; лукавая притча обезвредила автора «Бориса Годунова». Конечно, не вина, а беда Ивана Андреевича, что в оценке произведений изящной словесности он остался человеком XVIII века. С Русланом у него нашелся общий язык; в легкой поэме дозволительно было шутить; но переворачивать вверх дном трагедию — в подобном пренебрежении правил нет никакого резона.

Так сошлись и разошлись пути Пушкина и Крылова.

Литературная жизнь первых десятилетий XIX века отличалась динамичностью. Члены раннего оленинского кружка, вчерашние приятели и друзья, вступили во враждебные литературные объединения — в «Беседу» и в «Арзамас»; некоторые из них остались «оленистами», поддерживавшими добрососедские, но уже не близкие отношения как с беседчиками, так и с арзамасцами. Но литературная жизнь на этом не остановилась. Арзамасец Пушкин становится посетителем вечеров на квартире беседчика Шаховского, сближается с младоархаистом

<sup>10</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. I. СПб., 1878, стр. 184.

Катениным, вступает в дружеские отношения с «оленистом» Гнедичем и т. д.

Чем талантливее был Пушкин, тем сложнее оказались его отношения с братьями по перу, с критикой, с литературной традицией, с читателем. Всю жизнь преследовали Пушкина и восторженное почитание, и оскорбительная хула. Первая же его поэма вызвала журнальную брань. Вечно озлобленный Воейков, тот самый, которому не довелось стать прославленным конкистадором, по-пиратски напал на Пушкина. Как смеет автор употреблять «низкие» слова «наездник», «басурман», «закмуря», «занес», «да там и сел», как осмеливается сочинять «мужичкие» рифмы «кругом — копийм», — язвительно вопрошал арзамасец Воейков.

Пуристом и моралистом выказал себя и почетный арзамасец Иван Иванович Дмитриев; он одобрил критический разбор Воейкова и не одобрил «Руслана и Людмилы»: «Мне кажется, что это недоносок пригожего отца и пригожей матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе; но жаль, что часто впадает в *бурлеск*, и еще больше жаль, что не поставил в эпиграф известный стих с легкою переделкою: *La mère en défendra la lecture à sa fille*.<sup>11</sup> Без этой предосторожности поэма его с четвертой страницы выйдет из рук добрых матери».<sup>12</sup>

Дмитриев был холостяком, дочерей у него не было. Тем не менее он переполошился. А вдруг фривольные намеки молодого Пушкина развратят дочерей его приятелей?

Одним из таких приятелей был Карамзин. Его старшей дочери исполнилось в это время восемнадцать лет, — ему бы и опасаться; но он, сумевший скрыть от потомства свои любовные авантюры, оказался намного снисходительнее старого московского холостяка: «Ты не отдаешь справедливости таланту или *поэмке* молодого Пушкина, сравнивая ее с *Энеидою* Осипова, — писал Карамзин Дмитриеву, — в ней есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку».<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Мать запретит читать ее своей дочери (*фр.*).

<sup>12</sup> Письма И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому. СПб., 1898, стр. 25 (из письма от 20 октября 1820 года).

<sup>13</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. М., 1866, стр. 290 (письмо от 7 июня 1820 года).

Ханжеский покров был не по Карамзину. Выглядеть чопорным жеманником ему не хотелось. Он упрекал поэта лишь в композиционном несовершенстве поэмы. И вместе с тем в его отзыве чувствуется холодок; покровительственно цедит он свое сдержанное одобрение.

Из старшего поколения арзамасцев один Василий Львович Пушкин был очарован поэмой: «Дядя восхищается, но думаю от того, что племянник этими отрывками еще не раздавил его»,<sup>14</sup> — не без ехидства писал Иван Иванович Дмитриев по получении в Москве номеров «Сына отечества», в которых были помещены отрывки из «Руслана и Людмилы».

Дмитриеву было невдомек, что Василий Львович давно уже победил в себе авторскую зависть к племяннику, — он, староста «Арзамаса», искренне радовался; не его, Василия Львовича, творца бесшабашного «Опасного соседа», а шишковистов, рассеянных, но еще кропающих свои заунывные вирши, раздавил племянник своей жизнерадостной поэмой.

Не странен ли судеб устав!  
Певцы Петра — несчастья жертвы;  
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,  
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

— писал Батюшков о Ширинском-Шихматове, Грузинцеве и Сладковском, авторах высокопарных поэм о Петре I.

Передовых писателей выводило из себя единодержавие шишковистов в царстве поэмы. Первый об этом сказал публично все тот же Воейков; в послании к Жуковскому, напечатанном в январе 1813 года, он советовал ему написать «поэму славную, в русском вкусе повесть древнюю».

Жуковский задумался. Год спустя он написал ответное послание Воейкову. Из многих тем, предложенных ему, Жуковский облюбовал сюжет из времен княжения Владимира. В своем послании он набросал план волшебной поэмы, пропитанной мотивами русских народных сказок; тут и девица-краса, и Баба-Яга, и змей шестиглав, и русалки, и двенадцать дев. Но план остался неосуществленным.

«В. А. Жуковский часто, вместо переписки стиха, которым был недоволен, заклеивал его бумажкой с другим новым. Раз на вечере у Д. Н. Блудова один из чтецов нового произведения Жуковского, вероятно недовольный

<sup>14</sup> И. И. Дмитриев. Сочинения. Т. II. СПб., 1898, стр. 354.

переменной, сорвал такую бумажку и бросил на пол. Пушкин тотчас же поднял ее и спрятал в карман, сказав весьма важно: „Нам не мешает подбирать то, что бросает Жуковский“». <sup>15</sup>

Светлана, конечно, пришла в восторг от подобной выходки Сверчка. И дело не только в том, что Пушкин оказал уважение Жуковскому, как полагал Анненков. Вся прелесть поступка Пушкина заключалась для Жуковского в том, что Сверчок балагурил с серьезной миной; буффонство, услышанное из уст Пушкина усладило Жуковского.

Под оболочкой буффонады скрывалась истина: Пушкин «подобрал» целый сюжет поэмы, оброненный Жуковским. Молодой поэт искусно воспользовался находкой. Особенно приятно было слушать Жуковскому четвертую песню; здесь шутливая пародия перекочевала из узкого арзамасского круга на страницы поэмы, предназначенной для печати; здесь Пушкин пародировал его балладу «Двенадцать спящих дев».

Поэзии чудесный гений,  
Певец таинственных видений,  
Любви, мечтаний и чертей,  
Могил и рая верный житель,  
И Музы ветреной моей  
Наперсник, пестун и хранитель!  
Прости мне, северный Орфей,  
Что в повести моей забавной  
Теперь вослед тебе лечу  
И лиру Музы своенравной  
Во лжи прелестной обличу.

И после беглого пересказа баллады Жуковского наивно-риторический вопрос:

Дерзну ли истину вещать?  
Дерзну ли ясно описать  
Не монастырь уединенный.  
Не робких инокинь собор,  
Но ... трепещу! в душе смущенный,  
Дивлюсь — и потупляю взор.

Вместо святых монахинь — веселые и отнюдь не целомудренные девы; пародия была сделана столь искусно, что оставалось лишь радоваться умелой «перелицовке». А комизм поединка Рогдая с Фарлафом! А гротескная сцена любовного объяснения беззубой Наины с седовласым

<sup>15</sup> П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для биографии и оценки произведений. СПб., 1873, стр. 58—59.

Финном! А Черномор, запутавшийся в собственной бороде, перед Людмилой! Вся поэма пронизана буффонадой. Кто-кто, а он, Жуковский, отлично знал, как восхищался Сверчок его арзамасскими протоколами, его шутливым гексаметром. Полной пригоршней черпал Пушкин из них шутливую непринужденность; и там и тут — шаржированные характеристики, грубые словеса, иронические иносказания. Как удачно замесил он поэму на арзамасской галimatъе!

Жуковский берет свой портрет и пишет под ним:

«Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила, 1820 марта 26, Великая пятница».

«Руслан и Людмила» появилась на книжных прилавках летом 1820 года, когда Пушкин вместе с Раевским ехал через Кавказ в Крым.

## Глава седьмая

«В лето 5 от Липецкого потопа мы, превосходительный Рейн и жалобный Сверчок, на лужице города Кишинева, именуемой *Быком*, сидели и плакали, вспоминая *тебя*, о Арзамас; ибо благородные гуси величественно барахтались пред нашими глазами в мутных водах упомянутой. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающего берега Мойки и Фонтанки» (XIII, 20).

Перед нами черновик письма Пушкина петербургским арзамасцам. Мы не знаем, окончил ли его Пушкин и послал ли. Мы знаем, что поэт вместе с Михаилом Орловым вспоминал в Кишиневе друзей по «Арзамасу». А в Петербурге Жуковский вспоминал Орлова:

О Рейн, о Рейн, без волпепья  
К тебе дерзну ли подступить?  
Давно уж ты — река забвенья,  
И перестал друзей поить  
Своими сладкими струями!  
На «Арзамас» тряхнул усами —  
И Киев дружбу перемог!

Начальник штаба, педагог —  
Ты по ланкастерской системе  
Мальчишек учишь говорить  
О славе, пряниках, природе,  
О кубарях и о свободе —  
А нас забыл...

Василий Андреевич ошибался: Орлов не забыл арзамасцев. 4 мая 1818 года он писал Вяземскому: «Судьба, любезный Асмодей, не покровительствует нашему Арзамасу. Мы, как жида, рассеянные по лицу света, сохраняем в молчании и терпении веру отцов наших, между тем как толща невежд, под предводительством Мелшкова и других, осаждает отсюда архив словесности. Исчезла надежда моя, и я горько оплакиваю усопшие наши собрания».<sup>1</sup>

Письмо — из Киева, где Орлов служил начальником штаба корпуса и усиленно насаждал в армии ланкастерскую систему взаимного обучения солдат грамоте и арифметике. Он составил и напечатал особые таблицы; в них властями позднее «открыто было странное сопоставление трех слов, кои предназначалось произносить или писать под диктовку вместе: „тиран, кивжал, убить“. Думали, что это было умысленно».<sup>2</sup>

В 1820 году Орлов получил новое назначение — начальником 16-й пехотной дивизии, расквартированной в Кишиневе. Отменной рукоприкладства, человеческим отношением к нижним чинам, заботой о них Орлов вскоре завоевал небывалую популярность среди солдат; они были готовы идти за него в огонь и в воду. Когда началось восстание греков против турок, Орлов писал А. Н. Раевскому: «Ежели б 16-ю дивизию пустили на освобождение, это было бы не худо. У меня 16 тысяч под ружьем, 36 орудий и 6 полков казачьих. С этим можно пошутить. Полки славные, все сибирские кремни. Турецкий булат о них притупится».<sup>3</sup>

С этим можно было пошутить и при иных обстоятельствах. Орлов был не прочь «пошутить» и с Зимним дворцом.

<sup>1</sup> М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М.—Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 57.

<sup>2</sup> Д. Н. Свербеев. Записки. Т. 1. М., 1899, стр. 306. — Ланкастер Иосиф (1778—1838) — английский педагог, основатель системы взаимного обучения учащихся, которая способствовала уменьшению неграмотности в Европе.

<sup>3</sup> М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа, стр. 225.

В Кишиневе квартира Орлова стала декабристским «клубом», здесь постоянно шли политические дебаты, спорили о том, как достичь обновления России.

24 марта 1821 года Пушкин писал Гнедичу:

Далече северной столицы  
Забыл я вечный ваш туман,  
И вольный глас моей цевницы  
Тревожит сонных молдаван.  
Все тот же я — как был и прежде;  
С поклоном не хожу к невежде,  
С Орловым спорю, мало пью,  
Октавию — в слепой надежде —  
Молебнов лести не пою.

Пушкин знал — самовлюбленный Александр I падок на лесть; но так и не дождался северный Октавий приятной сердцу похвалы: подсвистывал, а не кадил ему поэт; дерзостной крамолы, а не смиренной кротости набирался он за гостеприимным кишиневским столом Михаила Федоровича Орлова.

«Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах, — писала Екатерина Орлова 29 ноября 1821 года своему брату Александру. — Его теперешний конек — *вечный мир аббата Сен-Пьера*. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворяют вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками».<sup>4</sup>

Перенесемся мысленно в столовую Михаила Федоровича Орлова. Штатских за столом раз, два и обчелся; кругом военные мундиры: правда, все они особого склада — не Скалозубы, а вольнодумцы. И все-таки они — военные, не раз рисковавшие жизнью на поле боя.

Вот этим-то республиканцам военного покроя и адресовал Пушкин свои пылкие суждения.

«Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же как им стало ясно рабство, королевская власть и тому подобное. Они

<sup>4</sup> М. Гершензон. Семья декабристов (по неизданным материалам). — «Былое», 1906, № 10, стр. 308. (подлинник по-французски).

убедятся, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

Так как конституции (крупный шаг вперед человеческой мысли, и он не останется единственным) влекут необходимо сокращение войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — возможно, что менее чем через сто лет не будет уже постоянной армии.

Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала: у людей довольно других забот, и только ради этого они поставили себя под защиту законов» (XII, 189; подлинник по-французски).

Загадывать на сто лет вперед Орлов не умел. Он предвидел лишь ближайшие события: Россия не успеет пробежать первой четверти столетия, как вспыхнет революция; во главе ее станут военные. Это являлось для него аксиомой; в эту аксиому верил он безусловно.

Пушкин чужд военного ремесла, и не ему судить генералов; запальчивость его раздражала генерал-майора Орлова.

Тщеславный до мозга костей, меценатствующий Орлов в свою очередь раздражал Пушкина. Хозяин дома подчеркивал свое старшинство: Пушкин говорил ему вы, Орлов называл его на ты. За генеральскими обедами слуги обносили Пушкина: в доме военных прислуга не жалуется штатских.

Пушкин выходил из себя; из уст его раздавались резкие и порой грубые ответы. Одевался он, идя в гости к Орлову, небрежно, валялся в шаравах на диване; всем своим поведением он бросал вызов генеральскому дому.

«Да что ты, долгий, возмечтал?  
Я за себя и сам, брат, стану». —  
Грудною наскока, вскричал  
Какой-то карлик великану.  
«Твой, мой — права одни!  
Не спорю, что равны они, —  
Тот отвечает без задору, —  
Но мой башмак тебе не в пору».

Вот эту-то общеизвестную в те годы басню Дмитриева напомнил Орлов Пушкину во время одной из их стычек: «Твой, мой права одни, — сказал генерал, — да мой сапог тебе не в пору».

Большую обиду трудно было придумать! Его пытались унижить намеком на басню целомудренного Дмитриева. «Эка важность, сапоги! — возразил Пушкин. — Если меряться, так у слона больше всех сапоги».

А теперь вспомним еще раз зачин письма к арзамасцам: «...мы, превосходительный Рейн и жалобный Сверчок...». Вольно или невольно Пушкин выразил этим сравнением социальную дистанцию между Орловым и собою.

Быть бычку на веревочке, гласит народная мудрость. Правительство привязало их к одной веревочке неблагонадежных подданных; они оба были удалены из столицы за независимый образ мыслей. И тем не менее их положение в Кишиневе было далеко не одинаковым. Генерал-майор, командир дивизии — и мелкий чиновник канцелярии Инзова, приبلудный чиновник, который даже не числился в штатном расписании: пришлось особо запрашивать Нессельроде на предмет выдачи ему жалования; первое время Пушкин жил на хлебах у сердобольного и попечительного Инзова. О каком же равенстве между Орловым и Пушкиным могла быть речь?

На одном из рисунков Пушкина изображен Михаил Федорович Орлов и его жена Екатерина Николаевна, старшая дочь генерала Раевского. Пушкин познакомился с семейством Раевских летом 1820 года на юге. «Все его дочери — прелесть, а старшая — женщина необыкновенная», — писал Пушкин брату. Вскоре она была сосватана за Орлова.

Меж тем как генерал Орлов —  
Обритый рекрут Гименея —  
Священной страстью пламенея,  
Под меру подойти готов, —

— писал с ревнивой иронией Пушкин. Поэт признавал, что Орлов умный человек и добрый малый, но приязни к нему не испытывал. Поэт никогда не забывал, что Екатерина Раевская с радостью приняла предложение Орлова.

К тому же Орлов принадлежал к тем родам-выскачкам, которые глубоко презирал Пушкин. Он не знал о генеалогическом подлоге, учиненном Орловыми (а мы о нем скоро узнаем). Но он отлично знал, как попали в честь дядя Михаила Федоровича; в интимном послужном списке Екатерины II одним из первых стояло имя Алексея Григорьевича Орлова.

«Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа... <...> Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званных и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделил с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в северной Турции» (XI, 15).

Здесь что ни слово, то выпад, что ни строка, то удар по Орлову, по его фамильной чести. Екатерина Орлова могла исподтишка радоваться: из всех фаворитов Екатерины II Пушкин возвеличил лишь Потемкина, по отцу приходившегося ей родней. А как должен был кипеть Михаил Федорович от таких речей! Правда, статья Пушкина «Заметки по русской истории», из которой мы сделали выписку, датирована 2 августа 1822 года, — к этому времени разжалованный Орлов только что покинул Кишинев; но, конечно, эти мысли возникли у Пушкина не в один день. В оценке царствования Екатерины II у Пушкина и Орлова не могло быть единомыслия. Не было у них единомыслия и по отношению к другим эпохам.

Всемирная история «от Ромула до наших дней», история России с незапамятных времен — какой неисчерпаемый предмет для размышления и споров!

«Я читал Карамзина. Первый том мне не пришелся по сердцу, — писал Орлов Вяземскому. — Он сам в предисловии говорит, что пленительнейшая черта римских историков есть то, что на каждом шагу видим в них римских граждан во всей силе сего слова. Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? <...> Тит Ливий сохранил предание о божественном происхождении Ромула, Карамзину должно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов».<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Литературное наследство, т. 59. М., 1954, стр. 565 (письмо от 4 мая 1818 года).

Вяземский не согласился с Орловым: Рейн категорически настаивал на своем мнении.

«Воображение мое, воспаленное священной любовью к отечеству, искало в истории Российской, начертанной российским гражданином, не торжества словесности, но памятника славы нашей и благородного происхождения, не критического пояснения современных писателей, но родословную книгу нашего, до сих пор для меня еще не понятного древнего величия. Я надеялся найти в оной ключ всей новой европейской истории и истолкование тех ужасных набегов варваров, кои уничтожили римскую империю и преобразовали вселенную... <...> Я надеялся, что язык славянский откроет нам глаза на предрассудки всех писателей средних веков, что он истолкует названия тех варварских племен, кои наводнили Европу, докажет единоплеменство оных и соделается, так сказать, началом и основанием истории новейших времен. <...>

Я, сообразуясь с временем нашим, не искал, конечно, в Карамзине какого-нибудь нелепого повествования о божественном порождении России, но желал и теперь желаю, чтобы нашелся человек, который, овладев, так сказать, рассказами всех современных историков, общим соображением преклонил насильственно все их повествования к одной и той же системе нашего древнего величия».<sup>6</sup>

Беспашная смелость была фамильной чертой Орловых. Они-то умели насильственно преклонить историю к избранной ими цели. Свой «исторический талант» они блестяще обнаружили во время дворцового переворота 1762 года. Смелость их проявилась и в присвоении ими себе родословного древа.

К древнему дворянству принадлежал только один род Орловых, тот, что вел свое происхождение от «мужа честна Льва», выехавшего в Россию к великому князю Василию Дмитриевичу в 1393 году. Правнук этого выходца Фрол стал родоначальником Орловых. К середине XVIII века уцелела лишь старшая ветвь сего старинного рода. Между тем в одном из колен угасшей младшей ветви рода значился Лукьян Иванович Орлов. Так же звали одного из предков Алексея и Григория Орловых. Правда, они жили в разные столетия; но стоит ли бравым гвардейцам, грудью проложившим себе путь к славе и почестям,

<sup>6</sup> Там же, стр. 566—567 (письмо от 4 июля 1818 года).

цепетильничать с хронологией? Всесильные Орловы принудили Сенат признать этих тезок одним лицом; тем самым новоиспеченные графы добыли себе древнее дворянство.

Пристрастие к блестящим гипотезам Михаил Федорович унаследовал от своих дядей. Он требовал от Карамзина полностью перелицевать европейскую историю. Историограф не усомнился в том, что норманны заложили основы русской государственности. Рабское следование за источниками возмутило Орлова, и возмутило справедливо. Но ему было мало заявить, что варяги Рюрика были россиянами; его пылкое воображение нарисовало фантастическую картину в широкой исторической раме: римская империя пала под ударами славян.

Позднее Пушкин напишет: «Мих. Орлов» в письме к Вяземскому» пенял Карамзину», зачем в начале „Истории“ не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело!» (XII, 306).

И все-таки все было сложнее, чем кажется на первый взгляд. В рассуждениях Орлова, если отбросить их безудержный размах, струилась мысль, близкая многим декабристам: величие дорюриковской Руси мыслилось им в апогее республиканского правления. С этим Пушкин не спорил; в его кишиневских бумагах сохранилось начало поэмы о новгородской вольнице.

Время стирает краски. Людские отношения сложнее и запутаннее, чем они представляются потомству. Чтобы восстановить истинную картину, надо оживить поблекшие полутона.

Пушкин и Орлов часто спорили. Порой в их словах проскальзывала личная неприязнь; недаром Пушкин позднее говорил, что он не охотник до Орлова. И тем не менее многое их сближало; они оба ненавидели Александра I, аракчеевщину.

1 января 1822 года Пушкин присутствовал на обеде у Орлова; наряду с офицерами начальник дивизии пригласил и нижние чины, — смелость, в самодержавной России неслыханная.

«Пишу тебе у Рейна — все тот же он, не изменился, хоть и женился. Начал он тебе было диктовать письмо в своем роде — но заблагорассудил изорвать его. Он тебе кланяется и занят ужасно сургучом.

### Прибавление.

Орлов велел тебе сказать, что он делает палки сургучные, а палки в дивизии своей уничтожил» (XIII, 35).

Этим каламбуром Рейна закончил Пушкин 2 января 1822 года свое письмо к Вяземскому. Он не писал Асмодею без малого два года: не было надежной okazji; теперь ехал Иван Петрович Лишранди, который «не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его», — ему-то и вручил письмо Пушкин.

«В долгой разлуке нашей дурацкие журналы изредка сближали нас друг с другом. Благодарю тебя за все твои сатирические, пророческие и вдохновенные творения, они прелестны — благодарю за все вообще — бранюсь с тобою за одно послание к Каченовскому; как мог ты сойти в *арену* вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты бил его с ног, но он облил бесславный твой венчик кровью, желчью и сивухой... Как с ним связываться — довольно было с него легкого хлыста, а не сатирической твоей палицы» (XIII, 34).

В остафьевском уединении читал Асмодей письмо Пушкина. С Варшавой было покончено внезапно и унижительно.

«В припадках патриотической желчи при мерах правительства, не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русского народа; при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать возвышенного бремени, на них возложенного, я часто с намерением передавал сгоряча письма моим животрепещущее соболезнование моего сердца; я писал часто в надежде, что правительство, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает чрез перехваченные письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего».<sup>7</sup>

Надежда Вяземского блестяще оправдалась. Перехваченные письма были внимательно прочтены правительственными чиновниками и оценены по достоинству; в апреле 1821 года он получил «награду» за свое бескорыстие — он жил в отпуску в Петербурге и перед самым

<sup>7</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. II. СПб., 1879, стр. 105.

отъездом был извещен о высочайшем запрете возвращаться ему в Варшаву, где находилась его семья и служба. Теперь наступила очередь Вяземского по достоинству оценить «награду». И вот уже подано на имя Александра I прошение о сложении с него, Петра Андреевича Вяземского, звания камер-юнкера. Прошение удовлетворили; Вяземский уехал в Москву; за ним был установлен тайный полицейский надзор. Бескорыстие всегда вознаграждается...

В покойных вольтеровских креслах, в уютном полосатом халате читал Асмодей письмо из далекого Кишинева. В опале вдвойне приятно получить весточку от опального друга!

«Послание к М. Т. Каченовскому», консервативному редактору «Вестника Европы», было энергичным выступлением в защиту Карамзина и просвещения. Пушкин, конечно, не знал, что из послания исключена строка о «почетной ссылке» Радищева, что цензура не допустила к печати смелый выпад против сторонников старины:

В превратном их уме: свобода — своевольство!  
Глас откровенности — бесстыдное крамольево!  
Свет знаний — пламенный кровавый мятежа!  
Паренью мысли — есть граничная межа  
И к ней невежество приставя стражей хищной,  
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.

«Кавказский мой пленник кончен — хочу напечатать, да лени много, а денег мало — и меркантильный успех моей прелестницы Людмилы отбивает у меня охоту к изданиям» (XIII, 34), — сообщал Пушкин в том же письме к Вяземскому.

Издателем «Руслана и Людмилы» был Гнедич, и его денежные расчеты казались Пушкину не безупречными. И тем не менее «Кавказского пленника» пришлось отдать на попечение Гнедича; в столице не нашлось другого человека, которому Пушкин мог бы поручить «скучные заботы издания».

«Неволя была, кажется, музою вдохновительницею нашего времени, — писал Вяземский в «Сыне отечества». — „Шильонский узник“ и „Кавказский пленник“, следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем. <...> Явление упомянутых произведений,

коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успехи посреди нас поэзии романтической. На страх оскорбить присяжных приверженцев старой Парнасской династии решились мы употребить название, еще для многих у нас дикое и почитаемое за хищническое и незаконное. Мы согласны: отвергайте название, но признайте существование».<sup>8</sup>

«Благодарю тебя, милый Вяземский! — писал Пушкин 6 февраля 1823 года, по прочтении статьи Асмодеев о «Кавказском пленнике», — пусть утешит тебя бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека. <...> Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос — французская болезнь умертвила б папу отроческую словесность» (XIII, 57).

В начале 1820-х годов слово «романтический» звучало «дикое» и необычно. Староверы встретили романтиков в штаны. Засверкали словесные поединки. Спорили все со всеми. Спорили классики с романтиками. Романтики разных толков спорили между собой. Даже литературные соратники спорили о том, кто из писателей достоин называться романтиком. Эпидемия споров захлестнула Пушкина и Вяземского.

«У нас нет театра, опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом — и то неточным и заржавым: впрочем, где он не следовал жеманным правилам французского театра? Знаю, за что полагаешь его поэтом романтическим; за мечтательный монолог Фингала — *нет! песням никогда надгробным я не внемлю*, но вся трагедия написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение — признайся: всё это одно упрямство» (XIII, 57).

Вяземский не признавался. Не упрямства ради, а по глубокому убеждению в собственной правоте не соглашался он с Пушкиным. Еще в конце 1810-х годов трагедии Озерова бывали полем сражения между Вяземским и

Пушкиным. К этому времени прах Озерова уже покоился на деревенском погосте. Драматург умер, а трагедии его шли на сцене, печатались; в 1817 году вышли в свет его сочинения, им была предпослана статья Вяземского.

Слова биографа о романтизме Озерова вызвали бурное опровержение Пушкина.

В литературе бывают калифы на час: бывают властители дум одного-двух поколений; бывают, наконец, вечные спутники человечества.

Озеров принадлежал к тем дарованиям, владычеству которых отведены годы, а не века. Восторженно принятый одним поколением, он вызывал нарекания дедов и внуков. По всей вероятности, есть какая-то закономерность в том, что неодобрительные оценки внуков часто перекликаются с насмешливыми суждениями их дедов. Такая подвижная шкала возникает иногда даже внутри одного литературного общества, — конечно, если его участники — люди разных поколений. Именно так, по градации поколений, относились к Озерову члены арзамасского братства.

Карамзин и Дмитриев признавали некоторую роль Озерова в обновлении жанра трагедии, они видели преимущества «Эдипа в Афинах» перед «Семирой» Сумарокова или «Рославом» Княжнина. Словом, похвала весьма сдержанная — небольшой шаг вперед — и не более того. К другим трагедиям Озерова отношение их было пренебрежительным; по свидетельству Жуковского, Карамзин называл «Фингала» дрянью.

Второе поколение арзамасцев — Жуковский, Батюшков, Блудов, Вяземский — горячо аплодировали его трагедиям, порой преувеличивали заслуги Озерова и создали легенду о том, что трагик пал жертвой несправедливых нападков и преследований со стороны враждебной «Беседы».

Наконец, представитель третьего поколения, молодой Пушкин, полагал трагедии Озерова безнадежно устаревшими; в полемическом задоре он говорил, что в них нет «ни тени драматического искусства».

В нашем прологе мы упоминали о судьбе последней трагедии Озерова; неуспех «Поликсена» уязвил автора. Он приписал его личным проискам Шаховского. В своем драматическом таланте Озеров не усомнился. Насколько бы горше было ему узнать, что юное поколение считает его отверженным кумиром!

<sup>8</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1878, стр. 73—75. — Упомянул о «Шильонском узнике», Вяземский имеет в виду русский перевод Жуковского этой поэмы Байрона. Подробнее об этой статье Вяземского и об отношении его к «Кавказскому пленнику» см.: Гиллельсон, стр. 76—83.

Ответ Вяземского на февральское письмо Пушкина до нас не дошел. Вскоре, в марте 1823 года, Пушкин снова писал ему:

«Благодарю тебя за письмо, а не за стихи: мне в них не было нужды — „Первый снег“ я читал еще в 20 году и знаю наизусть. Не написал ли ты чего нового? Пришли, ради бога, а то Плетнев и Рылеев отучат меня от поэзии» (XIII, 59).

Арзамасцы были в восторге от «Первого снега» Вяземского. Известен хвалебный разбор этого стихотворения, принадлежащий Александру Тургеневу; Пушкин называл «Первый снег» «прелестью».

Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладости!  
Кто в тесноте саней с красавицей молодой,  
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой,  
Жал руку, нежную в самом сопротивленье;  
И в сердце девственном впервой любви смятенье;  
И думу первую, и первый вздох зажег,  
В победе сей других побед прирав залог.  
Кто может выразить счастливец упоенье?  
Как вьюга легкая, их окриленный бег  
Браздами ровными прорезывает снег  
И, ярким облаком с земли его взвевая,  
Сребристой пылью вдруг окидывает их.  
Стеснилось время им в один порывный миг.  
По жизни так скользит горячность молодая  
И жгть торопится, и чувствовать спешит!

Афористическую строчку Вяземского «И жить торопится, и чувствовать спешит» Пушкин поставит эпиграфом к первой главе своего романа в стихах. А образ Вяземского «сребристой пылью» продлит свое существование, преобразенный вариацией Пушкина: «Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник».

В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкин красочно и патетически воздаст хвалу автору «Первого снега»:

Согретый вдохновенья богом,  
Другой поэт роскошным слогом  
Живописал нам первый снег  
И все оттенки зимних нег:  
Он вас пленит, я в том уверен,  
Рисуя в пламенных стихах  
Прогулки тайные в санях.

«Я барахтаюсь в грязи молдавской, чорт знает когда выкарабкаюсь. Ты — барахтайся в грязи отечественной и

думай:

Отечества и грязь сладка нам и приятна.

Св«ерчок» (XIII, 60)

Вяземский, конечно, помнил стих Державина «Отечества и дым нам сладок и приятен», который иронически перефразирован в письме Пушкина.

В кишиневском захолустье одолевала тоска. Хотелось выскочить из размеренного круга бытия, нарушить положенный предел, освежиться новыми впечатлениями, обнять старых друзей.

«Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух, да еще без некоторых избранных, соскучился и не в Кишиневе, а вдали камина к<нигини> Голицыной замерзнуть и под небом Италии <...> 7 мая 1821» (XIII, 29).

Вытребовать Пушкина в Петербург не удалось. Прошел лишь год со времени его ссылки. Александр Тургенев ждал подходящего случая, чтобы помочь Пушкину. Такой случай подвернулся весной 1823 года: Михаила Семеновича Воронцова, бывшего начальника Сергея Тургенева по службе в русских оккупационных войсках во Франции, назначили новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. Арзамасский опекун был начеку; не теряя времени, он произвел удачный демарш. В середине июня он уже общал Вяземскому:

«О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Вор<онцова>, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, оттуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»<sup>9</sup>

<sup>9</sup> ОА, т. 2, стр. 333—334 (письмо от 15 июня 1823 года).

Пушкин благословлял тот день, когда лошади умчали его на берег Черного моря.

«Я обнимаю вас из прозаической Одессы, не благодаря ни за что, но цenia в полной мере и ваше воспоминание и дружеское попечение, которому обязан я переменною своей судьбы. Надобно подобно мне провести 3 года в дуином азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и невольного европейского воздуха» (XIII, 78).

Письмо Александру Тургеневу дружеское, откровенное; оно писано «спустя рукава», как тогда говорили, т. е. без оглядки на почтовый сыск; посылал его Пушкин, конечно, с надежной оказией. В письме крамольные строфы «Наполеона», стихотворение «Свободы сеятель пустынный». «Поклон братьям и брате. <...> Жуковскому грех; чем и хуже принцессы Шарлотты, что он мне ни строчки в три года не напишет» (XIII, 80).

Братья — Николай и Сергей Тургеневы; братья — конечно, арзамасцы. Многим из них, и в особенности Жуковскому, не следовало бы забывать Сверчка, вынуждать его искать помощи Гнедича в издательских делах.

Между тем Гнедич предлагал выпустить вторым изданием «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника». Но Пушкин опасался его коммерческой сметки; надежнее, казалось, попросить Вяземского: «...возьми на себя это второе издание и осяти его своею прозой, единственною в нашем прозаическом отечестве. Не хвали меня, по побрани Русь и русскую публику — стань за немцев и англичан — уничтожь этих маркизов классической поэзии...» (XIII, 66).

Не успел Вяземский исполнить просьбу Пушкина, как получил от него рукопись «Бахчисарайского фонтана»: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай... <...> еще просьба: припиши к Бахчисарая предисловие или послесловие...» (XIII, 73).

Вяземский с удивлением прочитал то, что Пушкин небрежно именовал «бессвязными отрывками», посетовал на то, что Сверчок не прислал ему полного текста поэмы; конечно же, нашел достойным тиснения и сразу сел писать предисловие. В марте 1824 года «Бахчисарайский

фонтан», пахнувший свежей типографской краской, лежал у него на письменном столе. Перед поэмой Пушкина — «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова»: так назвал он свое предисловие.

Деньги уже отосланы в Одессу; Вяземский был рад услужить другу: баснословная скупость отца Пушкина была притчей во языцех, поэт постоянно бедствовал.

«От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец, за неожиданное послание или посылку. Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше право не хуже другого. Одно меня затрудняет, ты продал все издание за 3000 р., а сколько ж стоило тебе его напечатать? Ты все-таки даришь меня, бессовестный! <...> Жду с нетерпением моего Фонтана, т. е. твоего предисловия» (XIII, 88—89).

В своем предисловии Вяземский обосновал историческую точку зрения на литературный процесс, исходя из которой и классицизм античности, и романтизм нового времени являются художественным выражением народности литературы.

«Сейчас возвратился из Кишинева и нахожу письма, посылки и Бахчисарай. Не знаю, как тебя благодарить; Разговор прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы. Слог твой чудесно шагнул вперед» (XIII, 91).

Два месяца спустя Вера Федоровна Вяземская оказалась в Одессе. «Жена твоя приехала сегодня, привезла мне твои письма, — писал Пушкин Вяземскому 7 июня 1824 года. — То, что ты говоришь на счет журнала, давно уже бродит у меня в голове. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима. Мы одни должны взяться за дело и соединиться» (XIII, 96).

В 1818 году предполагалось выпускать арзамасский журнал.

В 1819 году Николай Тургенев пытался организовать издание журнала «Россиянин XIX века», с участием Пушкина, Жуковского, Вяземского и других арзамасцев.

В 1820 году Михаил Орлов предлагал Вяземскому выпустить журнал «Российский наблюдатель в Варшаве»: «Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев*. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным. Я, Николай Тургенев, Дашков и Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками»,<sup>10</sup> — писал Михаил Орлов Вяземскому 22 марта 1820 года.

Теперь, в 1824 году, в арзамасском кругу вновь возникла мысль о необходимости иметь свой печатный орган. Однако этот замысел, как и все предыдущие, остался лишь замыслом.

Пока Пушкин и Вяземский обсуждали журнальный план, Воронцов настоятельно просил Петербург избавить его от Пушкина. Какие-то неясные слухи дошли до Остафьева, и Вяземский немедленно предупредил Пушкина.

Предупреждение запоздало. Да и получи его Пушкин вовремя, вряд ли он стал бы поступать иначе; понятно, что от размолвки с Воронцовым он не ждал для себя ничего хорошего.

Донесам Воронцова помогло неосторожное письмо Пушкина,<sup>11</sup> попавшее в руки властей.

«Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. <...> Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92).

Отвергать догматы священного писания, непочтительно вести себя с начальством — подобного не прощали никому в царской России.

«Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку, — писал поэт 14 июля 1824 года Александру Тургеневу. — Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. <...> Последняя перемена

<sup>10</sup> Литературное наследство, т. 60, кн. 1. М., 1956, стр. 28.

<sup>11</sup> До нас дошел лишь отрывок из этого письма; в Академическом собрании сочинений адресатом этого письма указан П. А. Вяземский; некоторые исследователи считают, что письмо адресовано Кюхельбекеру.

министерства обрадовала бы меня вполне, если бы вы остались на прежнем своем месте. Это истинная потеря для нас, писателей; удаление Голицына едва ли может оную вознаградить» (XIII, 102—103).

Аракчеевские тиски все сильнее сжимали Россию. Честные, независимые люди уступали место беспринципным сервиллистам; с каждым днем жить становилось труднее.

В апреле 1824 года — вынужденный отъезд на лечение в чужие края Николая Тургенева.

В мае 1824 года — отрешение от всех должностей Александра Тургенева.

В августе 1824 года черед дошел до Пушкина. Александр I вспомнил патриархальный обычай своего родителя — ссылать неугодных ему лиц в их родовые имения. Поэту предписано было покинуть Одессу и ехать на жительство в Михайловское.

\* \* \*

Элегию «Погасло дневное светило» справедливо считают стихотворением, которое открывает романтический период творчества Пушкина; под знаком романтизма рассматривается, как правило, почти все творчество Пушкина времени южной ссылки.

На самом деле наряду с романтическими произведениями, написанными главным образом в жанрах поэмы и элегии, в годы пребывания на Юге Пушкин создавал и иные произведения, связанные в первую очередь с традициями арзамасского братства.

Как мы уже упоминали, дружеское стихотворное послание особенно культивировалось в арзамасском кругу. Жанр дружеского послания — один из основных жанров пушкинской лирики этого периода. Чтобы убедиться в справедливости подобного утверждения, достаточно привести перечень пушкинских дружеских посланий, написанных на Юге:

«В кругу семей, в пирах счастливых» — неоконченное послание к участникам «Зеленой лампы»;

«Друг Дельвиг, мой парнасский брат»;

«В стране, где Юлией венчанный» — послание к Гнедичу;

«Меж тем как генерал Орлов» — послание к В. Л. Давыдову;

«Любимец ветреных Лаис» — послание к Ф. Ф. Юрьеву;  
 «В стране, где я забыл тревоги прежних лет» — послание к Чаадаеву;  
 «Мой милый, как несправедливы» — послание к Н. С. Алексееву;  
 «Я не люблю твоей Корины» — неоконченное послание к Безобразову;  
 «Язычительный поэт, остряк замысловатый» — неоконченное послание к Вяземскому;  
 «Певец-гусар, ты пел биваки» — неоконченное послание к Денису Давыдову;  
 «Сия пустынная страна» — послание к Баратынскому;  
 «Вчера был день разлуки шумной» — послание к офицерам Генерального штаба в Кишиневе;  
 «Не тем горжусь я, мой певец» — неоконченное послание к В. Ф. Раевскому;  
 «Горишь ли ты, лампада паша» — послание к Я. Н. Толстому;  
 «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел» — неоконченное послание к В. Ф. Раевскому;  
 «Когда средь оргий жизни шумной» — послание к Ф. Н. Глинке;  
 «Недавно я в часы свободы» — послание к Денису Давыдову;  
 «Мой друг, уже три дня» — неоконченное послание, адресованное, по-видимому, Н. С. Алексееву;  
 «Сегодня я поутру дома» — неоконченное послание к неизвестному;  
 «Проклятый город Кишинев» — послание к Ф. Ф. Вигелю;  
 «Зима мне рыхлою стеною» — послание к В. П. Горчакову;  
 «Брат милый, отроком расстался ты со мной» — неоконченное послание к Льву Пушкину;  
 «Нельзя, мой толстый Аристип» — послание к А. Л. Давыдову.

Обилие дружеских посланий в лирике южного периода свидетельствует о том, что уменьшение личных контактов с арзамасцами (в эти годы Пушкин встречался, по сути дела, только с Михаилом Орловым и Вигелем; случайные встречи с Д. Давыдовым и Севериным не в счет), сравнительно небольшой удельный вес его переписки с арзамасцами (систематически — и то лишь с 1822 года — он переписывался с Вяземским; к этому можно прибавить только несколько писем к Александру Тургеневу и Вигелю) не отразилось на его внутренних творческих связях с традициями арзамасского братства.

О непрерывности этих связей свидетельствуют также сатирические и антиклерикальные произведения, написанные Пушкиным на Юге: два десятка эпиграмм, стихотворения «Христос воскрес, моя Ревекка», «Раззевав-

шись от обедни», «Десятая заповедь», поэма «Царь Никита и сорок его дочерей» и, наконец, «Гавриилиада».

Б. В. Томашевский, на наш взгляд, несколько приглушает значение «Гавриилиады», заявляя, что «издевка над догматами христианства была приметой „вольтерьянства“, вышедшего из моды».<sup>12</sup> Протоколы «Арзамаса», переполненные пародированием библейской образности, доказывают обратное. Во второй половине 1810-х годов, под влиянием усиления мистицизма и ханжества в высших правительственных сферах, воскресают среди оппозиционной общественности антицерковные настроения вольтерьянского толка и традиция французской фривольной поэзии с ее вызывающей эротикой. Естественно, что в этих условиях Пушкин обращается в первую очередь к антиклерикальным поэмам Парни, к его знаменитой «Войне богов».<sup>13</sup>

«В рuce твои предаюся, отче! — писал Пушкин Александру Тургеневу. — Вы, который сблизены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? <sup>14</sup> Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастирю поэтического нашего стада; но сперва дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых впечатлений*. В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя» (XIII, 29).

Итак, Пушкин собирался отдать под дружеское покровительство арзамасца Александра Тургенева «сочинение во вкусе Апокалипсиса», так осторожно называл он в письме «Гавриилиаду».

Обратим внимание на слог и фразеологию этого письма, с пародированием «архаистической» лексики, с цитатой из собственной элегии «Погасло дневное светило», с намеком на греческое восстание («такая каша»), с напоминанием о переводе Жуковского «Овсяный ки-

<sup>12</sup> Томашевский, стр. 435.

<sup>13</sup> Об этом см.: Л. Вольперт. О литературных истоках «Гавриилиады». — Русская литература, 1966, № 3, стр. 95—103;

<sup>14</sup> На Пафмосе, по преданию, был написан Апокалипсис.

сель», который читался на одном из заседаний «Арзамаса». В этом письме, как и во многих других письмах молодого Пушкина, сказалось влияние арзамасской эпистолярной традиции. В арзамасском кругу придавали особое значение жанру дружеского письма.

«Письма с ориентацией на устную речь вышли из лагеря „арзамасцев“ и их ближайших сторонников (Вяземский, А. И. Тургенев, Пушкин, Батюшков, отчасти и др.), в то время как „архаисты“ (Катенин, Грибоедов) ориентировались на более традиционные системы письменной речи. Для писем „архаистов“ характерно сдержанное отношение к слову, отсутствие „разговорности“, неологизмов и т. п. — для „арзамасцев“, наоборот, основной стилистической тенденцией является ввод „устной речи“, семантики домашних намеков и пародийное использование «архаистических» книжных традиций. <...> Основные черты дружеского письма в его ориентации на устную речь — пародийное использование поэтических и традиционно „высоких“ стилистических штампов, мозаичность конструкции, вбирающей в себя разнообразные тематические и стилистические пласты, чередование прозы и стихов и т. п. <...> Наиболее ярким и характерным его представителем является П. А. Вяземский, и в значительной мере А. С. Пушкин».<sup>15</sup>

И наконец, можно указать на еще одну область творчества, в которой сказалось влияние традиций арзамасского братства на молодого Пушкина, — на Юге поэт продолжал писать стихотворения в антологическом роде, который, отражая неоклассическую ориентацию поэтов-арзамасцев, ярче всего представлен в поэзии Батюшкова. В первом издании своих стихотворений Пушкин выделил раздел «Подражания древним»; из двенадцати стихотворений этого раздела девять написаны в годы южной ссылки («Нереида», «Редает облаков летучая гряда», «Земля и море», «Красавица перед зеркалом», «Муза», «Дева», «Дионея», «Приметы», «Ночь»). К этому списку следует добавить стихотворение «Прозерпина», начатое в апреле 1821 года и оконченное в Михайловском

летом 1824 года, а также отрывок из Шенье «Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий» (1823), при переводе которого Пушкин заменил рифмованный александрийский стих оригинала гекзаметром.

## Глава восьмая

Вяземский — Александру Тургеневу 13 августа 1824 года:

«Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина. Он от нее отирается в свою ссылку; она оплакивает его, как брата. Они до сей поры не знают причины его несчастья.

Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство верно было обольщено ложными сплетнями.

Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью! А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Это напоминает басню „Мор зверей“. Только там глупость, в виде быка, платит за чужие грехи, а здесь — ум и дарование.

Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтоб устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина».<sup>1</sup>

Новый удар судьбы не сломил Пушкина. Но гонения ожесточили его характер.

Вера Федоровна Вяземская познакомилась с Пушкиным в Одессе, и между ними сразу же установились короткие отношения; поэт был откровенен с этой умной и обаятельной женщиной; она стала его другом. Может быть, он даже был влюблен в нее. Может быть, ей даже было приятно и лестно его постоянное внимание. Во вся-

<sup>15</sup> Н. Степанов. Дружеская переписка 20-х годов. — В кн.: Русская поэзия. Сборник под ред. В. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Л., «Academia», 1926, стр. 79—82.

<sup>1</sup> ОА, т. 3, стр. 73—74.

ком случае ее свидетельствам о Пушкине мы можем вполне доверять; а она писала мужу из Одессы, что замечает в поэте склонность к мизантропии, боязнь людей. И это в двадцать пять лет! Кто же виной этому? Его родители и опала, отвечает Вяземская.

«Прекрасная, добрейшая княгиня Вера, душа прелестная и великодушная! Не стану благодарить Вас за Ваше письмо, слова были бы слишком холодны и слишком слабы, чтобы выразить Вам мое умиление и признательность... Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души менее эгоистичной, нежели моя; каков я ни на есть, она одна утешила меня во многих горестях и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование.

Вы хотите узнать о нем, об этом нелепом существовании; то, что я предвидел, сбылось. Пребывание в кругу семьи лишь усугубило мои огорчения, и без того достаточно существенные. Меня попрекают моей ссылкой; считают себя вовлеченными в мое несчастье; утверждают, будто я проповедую атеизм сестре — небесному созданию, и брату — потешному юнцу, который восторгался моими стихами, но которому со мной явно скучно. Одному богу известно, помышляю ли я о нем. Мой отец имел слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые, во всех обстоятельствах, поставили его в ложное положение относительно меня...» (XIII, 113—114; подлинник по-французски).

Было от чего вскипеть, было от чего выйти из себя!

«Милый, прибегаю к тебе, — в отчаянии писал Пушкин Жуковскому 31 октября 1824 года. — Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать.

Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объ-

ясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал.

Отец призывает брата и повелевает ему не заться avec ce monstre, ce fils dénaturé...<sup>2</sup> (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замазнулся, мог прибить*... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем» (XIII, 116).

Государство нагло ворвалось в дом Пушкина, в его семью; отец стал соглядатаем, мать взяла сторону отца, — как бы Александр и в самом деле не развратил ее любимца Левушку!

Нравственный удар потряс Пушкина. Могли последовать и вещественные хлопоты. К великому счастью, удалось избежать вмешательства властей. Сергей Львович одумался, забрал жену и дочь и укатил в Москву; Лява отправил в Петербург. Пушкин благословил свое одиночество.

«На все, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ, — писал Жуковский. — Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богат, у тебя есть неотъемлемое средство *быть выше* незаслуженного несчастья и *обратить в добро* заслуженное; ты более нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждение. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастные, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, есть ли употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, есть ли захочет сам. Плыви, силач!» (XIII, 120).

<sup>2</sup> С этим чудовищем, с этим вырожденком-сыном (*фр.*).

И радостно и досадно было Пушкину читать письмо Жуковского. Кому не лестно лишний раз услышать, что он гений? В искренности Жуковского Пушкин не сомневался. Он ценил прямоту своего старшего друга. И вместе с тем жизненная позиция Жуковского, его подчеркнутая откровенность от бурного потока событий, его попытка посмотреть со стороны на то, что кровно задевало сердце и ум, вызывало у Пушкина глухое раздражение. Различны, очень различны были их натуры, их восприятие мира.

Безмятежная натура Жуковского сторонилась бурных порывов Пушкина, его апалитического дара, его скепсиса. Незадолго до высылки Пушкина из Одессы он писал ему:

«Ты уверяешь меня, Сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал — но я не получал, не получал и не получал твоих писем. Итак бог судья тому, кто наслаждался ими. <...>

Обнимаю тебя за твоего Демона. К чорту чорта! Вот пока твой девиз. Ты создан попасть в боги — вперед. Крылья у души есть! вышины она не боится, там настоящий ее элемент! дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя. Прости, чортик, будь ангелом. Завтра же твой ангел. Твои звали меня к себе, но я быть у них не могу: пошлю только им полномочие выпить за меня задравный кубок и за меня провозгласить: Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца» (XIII, 94—95).

Пристрастными глазами прочел Жуковский «Демона»; Пушкин не посылал чорта к чорту. Доказательство сему — слова самого Пушкина. «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия сущности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром Гете называет вечного врага человечества *духом отрицающим*. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух *отрицания или сомнения*?» (XI, 30).

В этой заметке, написанной Пушкиным о себе в третьем лице, кто не услышит, кто не различит скрытой полемики с Жуковским?

Жуковский любил буффонаду, понимал шутку, но без злости пополам; дух же отрицания был ему чужд.

Белое, с молочным отливом, поразительно спокойное, резко асимметричное лицо; голова немного наклонена, словно ее владелец непрерывно к чему-то прислушивается и о чем-то неторопливо размышляет; задумчивость и в темных, на восточный лад поставленных глазах, на круглых, правильно очерченных губах приветливая улыбка; во всем его облике проступали черты доброжелательности и приязни. Его можно было бы упрекнуть в некоторой податливости и порой даже в бесхарактерности, — настолько в нем отсутствовала стихия сомнения, противоречия, отрицания.

«Читал ли ты последние произведения Жуковского, в бозе почивающего? — спрашивал Пушкин Вяземского в апреле 1820 года, — слышал ты его Голос с того света — и что ты об нем думаешь? Петербург душен для поэта» (XIII, 15).

«Жуковский тоже Дон-Кихот в своем роде. Он помещался на душевное и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда и не водилось. Ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например меня, который ворочал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому»,<sup>3</sup> — пронизировал Вяземский в декабре того же года.

«... ты в самой поре мужества: теперь время резать для потомства, — убеждал Вяземский Жуковского в феврале 1822 года. — А скажи по совести, в состоянии ли ты заняться трудом важным посреди стихии, в коей трепещешь? Минерва выскочила не из напудренной головы. Пудра сушит мозг, поверь мне».<sup>4</sup>

Из савана оделся он в ливрею,  
На пудру променял свой лавровый венец,  
С указкой втерся во дворец;  
И там, пред знатными стлбачею шею.  
Он руку жмет камер-лакею...  
Бедный певец!

Эпиграмма Вяземского на Жуковского? Ничуть не бывало! Эпиграмма написана не Вяземским, а Александром

<sup>3</sup> ОА, т. 2, стр. 121 (из письма к А. И. Тургеневу от 18 декабря 1820 года).

<sup>4</sup> Русский архив, 1900, кн. I, стр. 183.

ром Бестужевым. Казалось, Вяземский должен был по крайней мере одобрить эпиграмматический наскок Бестужева. Не тут-то было! Налицо явный парадокс. Бестужев повторяет мысль Вяземского, и это совпадение вызывает не согласие, а спор. В первой половине 1820-х годов получает особое значение не только *что* сказано, но и *кем* сказано.

Внутри арзамасских степ критиковать аполитичность Жуковского допускалось; но стоило этому обвинению прозвучать в устах писателей, находившихся вне этого круга, как сразу же возникало противодействие. Литераторы-декабристы и радикальные арзамасцы стояли бок о бок в борьбе с самодержавием; они были союзниками — верными союзниками, — но не друзьями. Что дозволялось другу; не дозволялось союзнику.

Строгий приговор Жуковскому в статье Бестужева заслужил отповедь Пушкина: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жук<овский> имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнят, за что венчают?» (XIII, 135).

Так писал Пушкин Рылеву 25 января 1825 года.

И в это самое время с нападками на поэтов-арзамасцев выступил Булгарин; он публично заявил, что в России есть поэты выше Пушкина и Жуковского. Всем, кто мало-мальски разбирался в литературных делах, было понятно, что Булгарин подразумевал Рылеву и Бестужева.

Вскоре Рылеву и Бестужев будут осуждены по делу декабристов, а Булгарин возглавит продажную журналистику. А пока Булгарин восхваляет — и восхваляет выше всякой меры — дарования Рылеву и Бестужева. Чем объяснить подобную странность?

В середине 1820-х годов Россия была на историческом распутии; в стране взметнулось оппозиционное движение передовых дворян, его волны грозили затопить Зимний дворец. На всякий случай Булгарин стал «кадить» Рылеву и Бестужеву.

С защитой поэтов-арзамасцев в печати выступил Вяземский. «Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что ты сказал обо мне в Тел<еграфе>, — писал Пушкин Вяземскому весной 1825 года. — Что за вопрос? Европейские

статьи так редки в наших журналах! а твоим пером водит и вкус и пристрастие дружбы» (XIII, 183).

А несколько месяцев спустя Пушкин мог с удовлетворением прочесть в глуши Михайловского сочувственный отзыв Вяземского о своем творчестве:

«Мелкие стихотворения и новая поэма Пушкина „Цыгане“ готовится к печати. Слышно, что юный атлет наш испытывает свои силы на новом поприще и пишет трагедию „Борис Годунов“. По-моему, должно надеяться, что он подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной и вырвет ее из колеи, проведенной у нас Сумароковым не с легкой, а разве с тяжелой руки. Благоговей перед поэтическим гением Расина, сожалею, что он завешал почти всем русским последователям не тайну стихов своих, а одну обрезную, накрахмаленную и по закону тогдашнего общества спитую мантию своей парижской Мельпомены. Как жаль, что Озеров, при поэтическом своем даровании, не дерзнул переродить трагедию нашу! Тем более опыт Пушкина любопытен и важен. Между тем поэтический роман „Евгений Онегин“ подвигается. Жаль, что две или три следующие главы, которые, как слышно, уже готовы, до сей поры остаются в рукописи».<sup>5</sup>

Вяземский считал своим долгом — долгом литератора, долгом друга — оповестить читающую публику о трудах Пушкина. Пусть Александр I загнал поэта в деревню, — он и оттуда подаст голос на всю Россию. Царь запретил Пушкину жить в столице, но он бессилен поставить плагбаум перед его славой.

«Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! — писал Пушкин Вяземскому 7 ноября 1825 года. — Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын! <...> Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого Торчат!» (XIII, 239—240).

Пушкин оказался прав. Не «Борис Годунов», а трагедия всей России освободила его из заточения в Михайловском.

<sup>5</sup> Московский телеграф, 1825, ч. 6, № 22, стр. 181—182.

«Как герой романа Потоцкого, который, где бы ни был, что бы ни делал, а все просыпался под виселицами, так и я: о чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибывает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место», — писал Вяземский жене 20 июля 1826 года.<sup>6</sup> Скорбью о друзьях, погибших в декабрьской катастрофе, проникнуто и его стихотворение «Море», посланное Пушкину 31 июля 1826 года; обращаясь к волнам, Вяземский восклицал:

Не смели изменить века  
Ваш образ светлый, вечно юный,  
Ни смертных хищная рука,  
Ни рока грозного перуны.  
В вас нет следов житейских бурь,  
Следов безумства и гордыни,  
И вашей девственной святости  
Не опозорена лазурь.  
Кровь братьев не дымится в ней!  
На почве, смертным непослушной,  
Нет мрачных знамений страстей,  
Свириных в злобе малодушной!

14 августа 1826 года Пушкин отвечал Вяземскому:

Так море, древний душегубец,  
Воспламеняет гений твой?  
Ты славишь лирой золотой  
Нептуна грозного трезубец.  
Не славь его. В наш гнусный век  
Седой Нептун Земли союзник.  
На всех стихиях человек  
Тиран, предатель или узник.

«Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Т<ургенева> привезли на корабле в Петербург? Вот каково море наше хваленое!» (XIII, 290—291).

Слух оказался ложным.

Стихи оказались пророческими.

С воцарением Николая I уйдет в прошлое эпоха дворянского либерализма. Не все арзамасцы выдержат тяжелых искус времени; некоторые из них отвернутся от друзей, на которых обрушатся гонения. Зато те арза-

масцы, которые проявят душевную стойкость, полностью оправдают высокое и — не будем бояться патетики — святое имя друга.

«Даю дружбе обещание, дружбе и тогда, когда бы друзей ни одного не осталось». Таков афоризм Александра Тургенева. Только человек, беззаветно преданный друзьям, мог с подобной остротой выразить свое чувство.

Я пью за здоровье не многих,  
Не многих, но верных друзей,  
Друзей неуклончиво-строгих  
В соблазнах изменчивых дней.

(П. А. Вяземский. «Друзьям»)

Сужение круга истинных арзамасцев сопровождалось упрочением и углублением их личных связей и творческих отношений. Начало этого процесса можно проследить уже во время ссылки Пушкина в Михайловское. Обитатели Тригорского заменили собою многочисленных знакомых Кишинева и Одессы; переписка с друзьями приобретает для Пушкина первостепенное значение; в самые трудные минуты жизни в Михайловском Пушкин пишет Вяземскому и Жуковскому. В последующие годы к этому арзамасскому «ядру» присоединяется вернувшийся из-за границы Александр Тургенев.

Пушкин, Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев навсегда останутся верны арзамасской дружбе.

\* \* \*

До последнего времени тема о связях Пушкина с кругом арзамасцев исследовалась в суженном виде; изучалось участие Пушкина непосредственно в «Арзамасе», а поскольку известно, что ко времени окончания Пушкиным Лицея это литературное общество проводило свои последние заседания, то естественно, что этому вопросу отводилось весьма ограниченное место в трудах о жизни и творчестве поэта. Взаимоотношения Пушкина с отдельными арзамасцами (Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, Вяземским и другими) рассматривались в первую очередь как отношения двух писательских индивидуальностей, без акцентирования внимания на том, что основой этих отношений является их принадлежность к одному литературному кругу.

<sup>6</sup> ОА, т. V, вып. 2, стр. 54.

Пересмотр традиционной точки зрения приводит к выводу о необходимости исследовать не только протоколы «Арзамаса», но и всю деятельность арзамасского братства, которая охватывает более длительный период — от начала 1810-х до середины 1820-х годов. Этот центральный тезис, положенный в основу настоящей книги, помогает глубже понять процесс становления творческой индивидуальности Пушкина, оценить истинное значение его дружеских отношений и литературных связей с членами арзамасского братства; таким образом, тема книги оказалась неотделимой от историко-литературной интерпретации существенных явлений в развитии русской литературы первых десятилетий XIX века, и в первую очередь от изучения жизненного пути и формирования мировоззрения Пушкина до восстания декабристов. Взаимоотношения Пушкина с арзамасцами после 14 декабря 1825 года должны стать предметом особого исследования.

## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- |             |  |
|-------------|--|
| Вигель      | — Ф. Ф. Вигель. Записки. Редакция и вступительная статья С. Я. Штрайха. Т. I—II. М., 1928. |
| Гиллельсон  | — М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., изд. «Наука», 1969.           |
| ГПБ         | — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.       |
| ЖМНП        | — Журнал министерства народного просвещения.   |
| ИРЛИ        | — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).                  |
| ОА          | — Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I—V. СПб., 1899—1913.                            |
| Томашевский | — Б. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.—Л., Изд. АН СССР, 1956.             |
| ЦГИА        | — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).                              |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог . . . . .	Стр. 3
------------------	--------

### Часть первая

#### «АРЗАМАС»

Глава первая. Возникновение «Арзамаса». Литературные портреты Ф. Ф. Вигеля, С. С. Уварова, Д. Н. Блудова, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского, Д. В. Дашкова, С. П. Жихарева, П. И. Полетики, Д. П. Северина, А. Ф. Воейкова. «Парнасский адрес-календарь». Ритуал арзамасских заседаний. «Отпевание» беседчиков. Споры о цели общества: буффонада или критика?	38
Глава вторая. Литературные портреты Д. В. Давыдова, П. А. Вяземского, В. Л. Пушкина, К. Н. Батюшкова. Церемония приема в общество В. Л. Пушкина; его «Послание к арзамасцам». Статья С. С. Уварова об «Опытах» Батюшкова. «Арзамас» — наследник традиции дворянского просветительства. О литературной платформе «Арзамаса» . . . . .	73
Глава третья. Почетные арзамасцы. Речь Карамзина (1818) в Российской академии, отношение к ней Пушкина и других арзамасцев. Пушкин и «Арзамас». Донесение С. С. Уварова о реформе общества. Вступление в «Арзамас» будущих декабристов Н. И. Тургенева,	

М. Ф. Орлова, Н. М. Муравьева. Политические споры на заседаниях «Арзамаса». Проект арзамасского журнала и устав общества. Шуточные гекзаметры Жуковского. Конец «Арзамаса» . . . . . 103

### Часть вторая

#### АРЗАМАССКОЕ БРАТСТВО

Глава четвертая. Что такое «арзамасское братство»; хронологические рамки этого литературно-общественного содружества. Мироззрение Пушкина и арзамасская идеология: первостепенная роль литературной критики; историзм; скептическое отношение к религиозным догмам; социальное значение сатирических жанров; новое восприятие античной культуры; расширение рамок мирового литературного процесса; народность литературы . . . . .	141
Глава пятая. Пушкин на квартире арзамасцев Тургеневых. Ода «Вольность» и исторические раздумья Н. И. Тургенева. Проводы Батюшкова в Италию. Встречи арзамасцев в Детском Селе у Карамзина. Журнальное общество Н. И. Тургенева и проект журнала «Россиянин XIX века». Программные требования Н. И. Тургенева о ликвидации крепостничества и «Деревня» Пушкина . . . . .	159
Глава шестая. Пушкин и участники раннего кружка Оленина. Статья Пушкина о русском театре, его отношения с Семеновою и Гнедичем. Литературный портрет Катенина; история его знакомства с Пушкиным. Расхождения между Пушкиным и Вяземским в оценке Катенина. Пушкин на «чердаке» Шаховского. Отношения Пушкина с Шаховским, Крыловым и Олениным. «Руслан и Людмила» в оценке «оленистов» и арзамасцев. Воздействие арзамасской буффонады на первую поэму Пушкина . . . . .	173
Глава седьмая. Пушкин в Кишиневе. Пушкин и М. Ф. Орлов. Споры о «вечном мире», о «Истории государства Российского». Переписка Пушкина с Вяземским. Статьи Вяземского о южных поэмах Пушкина. Спор Пушкина и Вяземского о творчестве Озерова. «Пер-	

вый снег» Вяземского и «Евгений Онегин». Гонения Александра I на арзамасцев — на Пушкина, Вяземского, Орлова, братьев Тургеневых. Традиции арзамасского братства и творчество Пушкина в годы южной ссылки: дружеское послание; сатирические и антиклерикальные произведения: дружеское письмо; «подражания древним» . . . . .	192
<b>Глава восьмая. Пушкин в Михайловском. Письма арзамасцев о судьбе Пушкина. Переписка Пушкина с Вяземским и Жуковским. Защита и критика Жуковского. Вяземский — пропагандист поэзии опального Пушкина. Отклики событий 14 декабря 1825 года в творчестве Пушкина и Вяземского . . . . .</b>	<b>213</b>
<b>Список условных сокращений . . . . .</b>	<b>223</b>

Максим Исаакович  
Гиллельсон  
**МОЛОДОЙ ПУШКИН  
И АРЗАМАССКОЕ БРАТСТВО**  
*Утверждено к печати  
Редколлегией серии  
«Из истории мировой культуры»*

Редактор издательства В. А. Браиловски  
Художник Д. А. Андреев  
Технический редактор О. А. Мокеева  
Корректоры Н. З. Петрова  
и В. А. Пузиков

Сдано в набор 21/XII 1973 г. Подписано к печати 20/VIII 1974 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 1  
Печ. л. 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub>=11,97 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 12,33.  
Изд. № 5719. Тип. зак. № 827. М-44541. Тираж 25000  
Цена 73 коп.

Ленинградское отделение издательства «Наука»  
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-я тип. издательства «Наука»  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

**АДРЕСА И ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ  
МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»**

480391 АЛМА-АТА, УЛ. ФУРМАНОВА, 91/97  
 370005 БАКУ, УЛ. ДЖАПАРИДЗЕ, 13  
 734001 ДУШАНБЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 95  
 320005 ДНЕПРОПЕТРОВСК, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 24  
 664033 ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 303  
 252030 КИЕВ, УЛ. ЛЕНИНА, 42  
 277012 КИШИНЕВ, УЛ. ПУШКИНА, 31  
 443002 КУЙБЫШЕВ (обл.), ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 2  
 197110 ЛЕНИНГРАД, УЛ. ПЕТРОВЗАВОДСКАЯ, 7  
 192104 ЛЕНИНГРАД, ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, 57  
 199164 ЛЕНИНГРАД, В. О., МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЛИНИЯ, :  
 199004 ЛЕНИНГРАД, В. О., 9 ЛИНИЯ, 16  
 103009 МОСКВА, УЛ. ГОРЬКОГО, 8  
 117312 МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 55/7  
 117468 МОСКВА, МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 12  
 630090 НОВОСИБИРСК, МОРСКОЙ ПРОСПЕКТ, 22  
 630076 НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 51  
 620151 СВЕРДЛОВСК, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 137  
 700001 ТАШКЕНТ, УЛ. КАРЛА-МАРКСА, 28  
 700029 ТАШКЕНТ, УЛ. ЛЕНИНА, 73  
 40100 ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 43  
 634050 ТОМСК, НАБЕРЕЖНАЯ Р. УШАЙКИ, 18  
 450075 УФА, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, 129  
 405075 УФА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49  
 720001 ФРУНЗЕ, БУЛЬВАР ДЗЕРЖИНСКОГО, 42  
 310003 ХАРЬКОВ, УФИМСКИЙ ПЕР., 4/6

*Для получения книг почтой  
заказы просим направлять по адресу:*

ЛЕНИНГРАД, ПЕТРОВЗАВОДСКАЯ УЛ., 7  
 МАГАЗИН «КНИГА — ПОЧТОЙ»  
 ЗЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

МОСКВА, МИЧУРИНСКИЙ ПР., 12  
 МАГАЗИН «КНИГА — ПОЧТОЙ»  
 ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

**О ПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ**

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
24	8 св.	в «Послании к Лукуллу»	в послании «На выздоровле- ние Лукулла»
196 выходные	2 ст. данные	Алексея В. А. Браи- ловски	Григория В. А. Браилов- ский

М. И. Гиллельсон. Молодой Пушкин и арзамасское братство.